

МАРИНА

МОСКВИНА

ОН БЫЛ РОЖДЕН, ЧТОБЫ СПАСТИ ЭТОТ МИР,
НО У НЕГО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

КРИО

роман

РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ



Большая проза

Марина Москвина

Крио

«АСТ»

2017

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Москвина М. Л.

Крио / М. Л. Москвина — «АСТ», 2017 — (Большая проза)

ISBN 978-5-17-982893-8

Новый роман Марины Москвиной – автора «Романа с Луной», финалиста премии «Ясная Поляна», лауреата Международного Почетного диплома IBBY – словно сундук главного героя, полон достоверных документов, любовных писем и семейных преданий. Войны и революция, Москва, старый Витебск, бродячие музыканты, Крымская эпопея, авантюристы всех мастей, странствующий цирк-шапито, Америка двадцатых годов, горячий джаз и метели в северных колымских краях, ученый-криолог, придумавший, как остановить Время, и пламенный революционер Макар Стожаров – герой, который был рожден, чтобы спасти этот мир, но у него не получилось...

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-982893-8

© Москвина М. Л., 2017
© АСТ, 2017

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

75

Марина Львовна Москвина

Крио

© Москвина М.Л., 2017.

© Бондаренко А.Л, художественное оформление, 2017.

© ООО «Издательство АСТ», 2017.

* * *

Все, что меня интересует, – это великая тайна жизни.

Кто – человек в центре толпы теней, которого я отчего-то считаю собой?

Что он здесь делает – песчинка, захваченная водоворотом имен и форм, в пространстве, которое ему явно снится? Что знает о смысле и цели он, погруженный в гущу материи и оглушенный суматохой этого мира?

Отчаяние или безумное ликование ударит в сердце или его просто смех разберет, дикий хохот, когда обнаружит он собственную версию мира настолько далекой от истинного положения вещей, буквально – никакого отношения?

И в чистоте, сияющей ясности, которая поглотит его, в пульсирующей этой живой пустоте начнет он видеть – что невозможно увидеть? Слышать – что невозможно услышать? Касаться того, к чему невозможно прикоснуться?..

Стеша мне говорила, у африканского племени химба есть слово “танаука”, оно означает крутой поворот, большие перемены. Причем это может касаться чего угодно: пустыни после дождя, внезапно разгоревшейся любви, рождения, смерти, ну, я не знаю, боевого крещения. Короче, жгучий миг, когда человек ощущает хотя бы неуловимое изменение судьбы.

– При этом химба оглядывается и смотрит на прошлое как на прекрасную реку, которая искрится вдали, – говорила Стеша. – А в конце пути, завернувшись в лучшую свою накидку, он спокойно присоединяется к праотцам, которые живы для него, у них он просил помощи и чудес на земле. Ну, и на небесах, естественно, рассчитывает на подмогу...

Вот так бы и мне, когда придет пора, завернуться в шаль с безрассудным узором, сплетенным из старых разноцветных нитей с преобладанием синей пряжи. (Я с ума схожу по синему с голубым. И не обязательно должно быть это небо, море, снег, сумерки или, ну, я не знаю, – *взгляд бездонный твой, напоенный синевой...* Пусть даже стена казенного дома, больницы или милиции, если она покрашена незамысловатой синей эмульсией – мне как-то легче на душе.)

Да, завернуться в шаль, связанную из распущенного платья Стеши, хранящую по сей день еле уловимый Стешин запах, вздохнуть и взлететь – к ним, чьи тела и лица возникают передо мной подобно призракам, едва различимые в дневное время, но полностью видимые, когда опускается ночь.

Все это не так уж четко обрaмлено, их присутствие можно ощутить в любое время. Просто не совсем ясно, где оно начинается и где заканчивается. Вот за этим деревом? После этого облака?

Ибо существуют моменты, когда наши глаза открыты и отдыхают на чем-то, остановившись, и каждая деталь, взгляд, слово, свет, падающий на лицо от соломенного абажура, темные деревья в окне, стук антоновки о землю, грохот нескончаемого товарняка, теплая рука Геры, возложенная тебе на макушку, Стеша, бредущая босиком вдоль Балтийского залива в синем платье, облегающем фигуру с картины Боттичелли “Рождение Венеры”, хлынувшее солнце сквозь листву, когда ты взлетаешь на качелях, высокая температура и запах камфары, водочный компресс на больных ушах, бабушкин платок, накинутый на лампу,

русобородый Сенька, поблескивающий очками сквозь прутья клетки с говорящим скворцом Джоном Ленноном, сосновый бор весь в снегу на станции Кратово, завьюженная электричка, июльский пруд, кувшинки, деревянная лодка, ржавые уключины, брат Ярослав, живой, сероглазый, с таинственной улыбкой, дедушка Боря и его обязательный букет чайных роз на день рождения, витебский кларнетист Иона Блюмкин – внезапно запечатлеваются в памяти.

Но не приблизиться бы, не поравняться, не прикоснуться, если б из междуцарствия, из бесконечного голубого простора, по рассеянности, как бы случайно, не послали навстречу настоящую волшебную птаху, мудрого сверчка, луговую бабочку...

И одухотворенные столь благоприятными знаками, обитатели вечного настоящего, мы переплываем часовые пояса прошлого на грандиозном трехпалубном пароходе “S.S. Еугора”, вместе с Борей (мы его звали – Ботик!), работником торгпредства СССР в Соединенных Штатах, который в октябре тысяча девятьсот тридцать четвертого года с семьей возвращается домой из Америки.

Вон он – стоит на палубе, мой бесподобный дед, в шляпе с бантом цвета темного никеля, незамятой: дно тульи параллельно линии горизонта, в длинном клетчатом пальто из прекрасного твида с завышенной талией, хлястиком и манжетами. Отутюженные стрелки брюк, удобные ботинки, повторяющие контур ступни, а поверх шнуровки – изысканные гамаши светлого сукна с лямкой под каблук. Истинный джентльмен в четырнадцатом колене, Джек Восьмеркин – американец, наяву, а не во сне пересекающий Атлантический океан.

Облокотившись на борт, он придерживает сидящего на перилах шестилетнего дядю Валью в черном котелке, словно какого-нибудь отпрыска заморского аристократа. Мой папа Гера восьми лет – в двубортном пальто с отложным бобровым воротником, тоже в респектабельном котелке с перехваченной лентой тульей, в чулках и лакированных туфлях, глядит исподлобья – солнце слепит глаза. И совсем юная Ангелина, немка, Ангелина Корнелиусовна Беккер, положила руки ему на плечи.

Какие виртуозные портные придали ее одеянию столь мягкий текучий силуэт? Что за уютные меха накинуты на плечи и опоясывают запястья? Какие сложные по фасону туфельки, тонкие кожаные перчатки с пряжками, фильдеперсовые чулки, которые в эпоху Великой депрессии ввели в обиход шансонетки – сестры Долли!

В России такие тонкие прозрачные чулки загорелого цвета стали носить только в конце тридцатых годов. До этого обладать подобными чулками, приобретенными за валюту в иностранных магазинах, считалось непростительной роскошью благодаря их дороговизне и непрочности. Мама говорила, с этими чулками жуткая морoka: надо было их постоянно штопать на граненых стаканах или деревянных грибах, поднимать петли, следить, чтобы шов сзади был ровно расположен. К тому же после Первой мировой войны за пару импортных чулок, полученных, к примеру, бандеролью из Нью-Йорка, могли не только посадить, но и расстрелять: связь с границей – нешуточное дело. Только в тридцать восьмом году Стешиной маме, бабушке Пане, на годовщину революции подарили первые нейлоновые чулки. Вскоре началась война, все это можно было достать лишь втридорога на черном рынке. Поэтому Паня и ее соратницы из Моссовета до зимней эвакуации в Казань красили ноги чайной заваркой и рисовали шов сзади карандашом для бровей.

А моя золотая бабушка Ангелина – в тридцать четвертом – со своей сказочной фамилией и национальностью, давшей миру великого Гёте, Шиллера, Бетховена, братьев Гримм, а заодно и поэта Курта Басселя (чья жизнь и творчество двадцать лет спустя лягут в основу дипломной работы Стеши, и та ее триумфально защитит на романо-германском отделении филфака МГУ, демобилизовавшись из армии после победы над Германией), стройная, высокая Ангелина Беккер ласково глядит с фотографии, грустно улыбаясь, снятая во весь рост – в тех самых искрящихся чулках, недостижимых для простой смертной женщины! И это

великолепие венчает маленькая с отворотом фетровая шапочка с кремовым перышком над лбом.

В грузовом трюме плыли с ними в Москву три весьма габаритных предмета: радиола, холодильник и американский автомобиль “Форд”.

Длинные тени – наверное, день клонился к закату – упали на поверхность океана, вскипающего бурунами. За спинами у них расстился необозримый встревоженный океан.

Ботик – сын Фили Таранды с Покровки – родился с первыми петухами на закате девятнадцатого века, в русском народе этот июльский денек звали Прокл Великие росы.

Действительно, утром на траву обильная выпала роса. Фили вынес Ботика из дома и окунул в густой речной туман, омыл от макушки до пяток росой: считается, что Прокловы росы целебны и защищают от недоброго глаза.

Через пару часов на Песковатиках из благословенного чрева Доры Блюмкиной вынырнул товарищ Ботика, Иона. Легенда гласит, что в руках его был маленький медный кларнет. И вместо традиционного младенческого крика он исполнил на нем что-то предельно простое, но трогательное душу, быть может, куплет из песенки “Наплачь мне полную реку слез”, которую так любила напевать портниха Дора за своим шитьем.

Два этих поистине вселенских события произошли в славном городе Витебске – на ветру, на холмах, где и правда все летело: речка, мост, дорога, узкие улочки, заросшие подорожником и лебедой, кабаки с жестяными вывесками, разукрашенные пенящимися кружками и курицей на вертеле, высокая белая церковь на Соборной площади, первая пропускная баня, плуговой завод, игольная фабрика, шляпочное кустарное предприятие – Володарского, дом восемь, кружок по изучению критики чистого разума Канта – Зеленая, пять, приют для малолетних преступников на Богословской, общественные прачечные, тюремная библиотека при губернской тюрьме, балетная студия на Верхне-Петровской улице...

– Витебск. Это, знаешь, очень обаятельный город, – говорил мне Ботик. – В отличие от Минска...

– К тому же речной простор – непременно условие для города летящего... – подхватывала Стеша. – Холмы. И река. И тебе обеспечен поэтичнейший фундамент для любых диалогов, объяснений в любви и прочее...

Действительно, в связи с общей покатостью и взгорбленностью ландшафта дома выглядели как на картинах Шагала; тот появился на свет на тех же Песковатиках, а после очередного пожара всей семьей они перебрались на Покровку.

Ботик показывал мне в альбоме репродукций своего прославленного соседа, каким-то чудом раздобытом Стешей в ознаменование семидесятилетия Ботика, их скособоченный дом, обнесенный покосившимся забором, и точно такое жилище Ионы; только перед калиткой Фили Таранды бродила голубая коза, а у Блюмкиных об угол забора чесались свиньи.

Надо ж было такому случиться, что прямо на Прокла с его немереными росами в маленьком деревянном доме позади тюрьмы на окраине Витебска вспыхнул пожар. Огонь охватил весь город, что случалось довольно часто и до и после столь знаменательных происшествий.

Отец Ионы – Зюся, представьте, скрипичный мастер, решил вывезти с поля солому на подстилку их чалой коровке. По дороге солома загорелась. К счастью, неподалеку высилась пожарная каланча. Туда и помчался Зюся на пылающей колеснице, запряженной соседским мерином Капитоном, надеясь, что пожарные помогут спасти хоть что-нибудь из его добра. Однако, захваченные врасплох, те не сумели справиться с пламенем, так что вместе с соломой сгорела и телега, и пожарная часть города Витебска.

Другой мой дед, Макар Стожаров, явился на свет в глухих Сыромятниках на берегу речки-вонючки Яузы в одноэтажном бараке, благородно именуемом “спальной”, хотя это была заштатная ночлежка для беспорточников и голодранцев, которые в рабочей слободе встречаются на каждом шагу и вместе с дымом, унылым кирпичом и известкой составляют неотъемлемый компонент окраинного московского пейзажа.

В “спальне” ютились сорок человек – в основном рабочие красильной фабрики, но попадался и ремесленный люд: мастеровые, прачки, грузчики, матросы буксирных пароходов, пара стекольщиков, был даже один дровосек по имени Порфирий Дардыкин.

На общей кухне варили постные борщи и картошку жены семейных обитателей. Дарья, супруга Макара Стожарова, кроткая, молчаливая крестьянка на сносях, славилась каким-то особенным картофельным пирогом с хрустящей корочкой. Их старший сын Вавила, мечтательный подросток, трубивший на заводе Гужона, всегда забегал в обед отведать ее пирога. Вскоре он станет народовольцем. Как сложится его жизнь, мы не знаем – нет в сундуке у Стожарова об этом никакой информации.

Средний брат Ванечка, судя по его письму и черно-белой открытке с портретом Подвойского, присланным Макару в тридцать девятом году из Хабаровска, пережил множество бед и невзгод. А пока целыми днями слонялся на пустыре за сараем с деревянным мечом, рубил крапиву и лебеду.

В пять утра над рабочей слободкой в дымном масляном воздухе дрожал фабричный гудок. Послушные этому зову, жители Сыромятников отбывали на заповедные промыслы – кто в мастерские, кто на красильную фабрику или, как мой дремучий предок Макар Макарыч, в форменной фуражке с алюминиевой бляхой и пластмассовым козырьком, – к вокзалу.

Около полуночи закатывались в какой-нибудь захудалый трактир – пили, курили, сквернословили, устраивали пьяные потасовки, пока совсем не выбивались из сил, падали на лавки и забывались мертвецким сном.

В такой канонической трущобе Макар выкарабкался из вечности и, потрясая миллиарды миров, испустил торжествующий вопль, который пробился сквозь грохот вагонных колес и тягучие гудки паровозов; даже носильщик Стожаров с Курского вокзала услышал и примчался с чужим чемоданом на закорках!

Его рождение, Стеша говорила, сопровождалось многочисленными благоприятными знаками. В небе сияло множество радуг и пролился целый дождь из цветов.

Несколько месяцев не умолкал этот горлопан, сводя с ума родную ночлежку, так вопил, чтодребезжало единственное стекло в окне, хорошо, остальные рамы были заделаны тряпьем и бумагой; от рева сотрясались нары, стены и потолок ходили ходуном, звенели в стаканах ложки, распахивались створки шкафов, оттуда вываливались на земляной пол кастрюли и тарелки, нарушая отдых и без того изнуренных, пришибленных жизнью людей, лишая надежды на воскрешение потерянных сил и возрождение утраченных соков.

Чтобы унять младенца, Стожаров давал ему тяпнуть винца и по христианскому обычаю окунал с головой в Яузу.

– Макарыч, да ты там его попридержи! – дружелюбно советовали ему обитатели ночлежки.

А ночью слышался неодобрительный ропот, брань, дело чуть ли не доходило до рукоприкладства:

– Заткни глотку, Дарья, своему рыжему черту!!!

В полном беспамятстве Дарья Андреевна молила Архангела Михаила Грозных Сил Воеводу, чтобы тот прибрал беспокойную душеньку Макара.

Но Архангел Михаил не внимал ее молению, хотя отлично знал, сколько от младшего Стожарова еще будет шума и треска.

Мой прадед Филя был горшечник, на его плошки, кувшины с горшками слетались порой не только соседки со всей округи – тетушки Гутя, Шая, Ривка, Амалия, Мира, Агнесса: из-под верхней юбки торчит нижняя, из-под одной косынки другая, из-под пятницы суббота, белозубые улыбки, в волосах запутались гребни и шпильки, – жены булочника, извозчика, мясника и грузчика, что опять же детально отображено на полотнах всемирно известного очевидца их полетов, но и прибывали гонцы от более важных персон, таких как письмоводитель Виктор Бонифатьевич Климаневский, городничий штабс-капитан Леонард Иванович Готфрид, бургомистр, коллежский асессор, уездный казначей, титулярный советник – весь высший свет Филя обеспечивал своей продукцией.

Даже секретарь городского старосты Елеазар Вениаминович Блюдоху высоко ценил Филину утварь и отправлял за его гончарными изделиями свою почтенную супругу Евну Иоселевну Шапиру. Нет смысла говорить, что уездный стряпчий Болеслав Федорович Штромберг затоваривался только у нашего Фили.

Сколько лет прошло с той чудной поры, когда мне Ботик с гордостью перечислял эти достославные фамилии. Боря припоминал, что и Хазя Шагал, селедочник, со своей крохотной женой Фейгой тоже накупали у них горшки, когда перебрались с Песковатиков на Покровку.

Фейга любила поговорить, и вот они подолгу судачили с моей тихой и кроткой прабабушкой Ларочкой. Фейга места не находила: ее сын, Марк, вздумал стать художником.

– Да ты спятил! – она ему говорила. – Что скажут люди???

Тот ехал на трамвае вниз к Соборной площади и увидел вывеску: “Школа живописи и рисунка художника Пэна”.

Марк уговорил Фейгу поехать с ним к Пэну, вот они заходят – на стенах развешены портреты: дочь градоначальника Пржевальского, дородная супруга, а рядом и сам Викентий Феликсович, по слухам, даже на ночь не снимавший с груди серебряную медаль “За усердие”. Портрет главы сиротского суда Евстафия Францевича Цитринко, штатного врача богоугодных заведений Артура Самсоновича Шоппо, да что Шоппо – бери выше! – уездный предводитель дворянства капитан Игнатий Имануилович Дроздовский, кавалер ордена Святой Анны третьей степени, заказал Пэну свой парадный портрет.

Фейга впервые очутилась в мастерской художника, она озиралась по сторонам боязливо, оглядывала портреты, вдруг ей бросилась в глаза картина, где лежала обнаженная натурщица.

– Такой срам! – рассказывала Фейга Ларочке. – Я вся вспыхнула, спрашиваю: “Это кто?..”

А художник Юрий Моисеевич Пэн, экстравагантная личность в длиннополом сюртуке, карманные часы на цепочке, светлая бородка клинышком, потупился и ответил, смущенно улыбувшись:

– Это я.

До трех с половиной лет Стожаров немотствовал. Лишь на четвертый год из уст его изошло Слово. Да не одно, а, можно сказать, четыре.

В тот памятный день Макар неожиданно куда-то смылся. Дарья искала его по всем баракам на пустыре, звала, плакала, пока Макарка в рубахе до колен не явился к ужину.

– Где ты был? – она вскричала для порядка, не ожидая ответа.

На что он неожиданно отозвался, четко артикулируя:

– Я резался в карты.

После этого случая маленький Макар стал записным говоруном.

В сатиновой рубаше, которую Вавила в свое время передал Ивану, а тот со своего плеча пожаловал Макару, босой, веснушчатый, худой, стоял он, окруженный сверстниками, полунемыми и кособокими, и потчевал их бесконечными сказаниями – про Сарай и Пустырь.

Мол, ихний сарай – не просто сарай, а *караван*-сарай, который брел, брел по пустыне, потерял дорогу домой, заблудился и осел здесь на диком пустыре.

– Видите, – говорил Макарка, – у сарая торчат из углов бревна – это его ноги, их обрубали мужики, пришлые плотники, что строили здесь церковь, когда увидели из-за вон той березовой рощи медленно ползущий сарай, они не испугались, а вышли вперед и топорами подрубили ему ноги. Вот он и осел здесь, охнул, брюхом упал в пыльную землю. И эти же мужики стали первыми жителями бродячего сарая. А мы – уже пятое поколение. А пустырь этот и не пустырь вовсе, а кусок огромной коровьей лепехи: когда-то пролежала здесь коровья дорога, шла одна тучная корова, заболел у нее живот, и насрала она здесь, где я стою.

Макар не шепелявил и не картавил, складно формулировал, часами разглагольствуя крепким голосом упругим:

– Пойдите в любую сторону, – он всех уверял, – увидите край этой лепехи, сухой, изрезанный оврагами с крапивой. Не верите? А вот понюхайте, как после дождя воняет, поэтому наша речка называется “вонючка”. А в этой вонючке живут водолазы, прячутся, как бобры, в норах под берегом, питаются дождевыми червями.

– А откуда оне, энти водолазы? – спрашивал Евсейка, самый смышленный из ребят.

– Если кто утоп, тот и становится водолазом, – объяснял Макар. – Все утопленники, которых не нашли, – обернулись водолазами и никогда не вылезают из воды, только на Ивана Купальника ночью можно их увидеть, если подманить лучиной.

На Покровку из-за очередного пожара, или потопа, или падения метеорита перетасили пожитки и заняли ветхий домик, вросший по пояс в землю, Зюся Блюмкин и его семейство. При этом неунывающая Дора как ни в чем не бывало вывесила на входной двери свою неизменную табличку с надписью “Моды Парижа”!

Три семьи обитали поблизости друг от друга. Иона с Ботиком играли в перышки и в городки, лазали по крышам. Ботик с сестрой часто навевались в лавку Хази, чтобы за хвост вытащить из бочки мокрую селедку.

– Нам, пожалуйста, на три копейки селедочки. У вас такая вкусная! – говорила Асенька.

В осенние праздники дружно вытряхивали из одежды в холодную Двину свои грехи. Ботик забирался в сад через забор, воровал и ел яблоки, Иона учился грамоте и пению, пиликал на скрипке, дудел на кларнете.

Ася ходила хвостиком за Ионой. Свою любовь к нему, как полыхающий факел, она пронесла сквозь целую жизнь, хотя у нее были и мужья, и высокопоставленные любовники.

Но! – она говорила в глубокой старости, – если бы Иона Блюмкин позвал ее, хотя бы когда-нибудь, – она говорила, глядя на проплывающее в окне облако, грустно качая головой, – хотя бы во сне, в больничном бреду или спяну одними губами прошептал: “Ася”, – она бы услышала на краю света и очертя голову бросилась за ним куда угодно, хоть в Соединенные Штаты, хоть на Колыму.

– В детстве я очень любила музыку, – она рассказывала нам за праздничным столом. – Мне было полтора года, мы жили в Витебске, когда мама отправила меня погулять во двор, а по улице проходил военный оркестр. И я ушла за военным оркестром, подпевая и дирижируя. И на протяжении пяти с лишним часов мама не знала, где я. Меня нашли чуть ли не на другом конце города, я стояла и пела около стенки дома, раскачиваясь в такт, стучая попкой о стену. Я потом Ларе всю жизнь говорила:

“КАК ТЫ МОГЛА???”

Зюся – сын клезмера Шломы Блюмкина.

В черном длиннополом сюртуке, под которым виднелись поддевка и рубаша, с тощей бородой, пегими усами и в потертой фетровой шляпе, Шлома бродил по деревням, зажигал на многолюдных родственных застольях, свадьбах и бар-мицвах, на земляческих торжествах, развлекая столяров, кузнецов, лодочников и горшечников. Он был худ, и бледен, и близорук, а его пальцы – тонкие, белые, как будто сахарные, да и весь его облик напоминал старинную фарфоровую фигурку уличного скрипача, доставшуюся мне в наследство от незабвенной Панечки.

Казалось, Зюсе была уготована та же судьба, недаром он всюду таскался за Шломой, шагал от деревни к деревне по ухабистым дорогам, мок под дождем, грязь месил, пропадал под лучами палящего солнца, только чтобы увидеть, как Шлома достает из футляра свою волшебную скрипицу...

Но случилось какое-то происшествие, Ботик точно не помнил какое, а только Зюсик не стал скрипачом, хотя имел для этого все предпосылки. Он взялся мастерить “цыганские” скрипки, “саксонские” альты, один к одному получались у Зюси “испанские” гитары, в Музее музыки на Зеленой по сей день хранится сооруженная им виолончель! И на всем этом Зюся виртуозно исполнял “Чардаш” Монти.

Незатейливые напевы Доры, умноженные на “Чардаш” Зюси, – вот в чем крылись тайные пружины Йошиного гения, который не утаился от всевидящего ока Маггида. Поэтому на праздник Рош ха-Шана, пресветлый день коронации Всевышнего, когда буквально каждый правоверный пробуждается от сна существования, душа трепещет в ожидании Божественного Суда, а молитвы о спасении и милосердии исторгаются из бездны сердечной, Маггид оказал Ионе высочайшее доверие – трубить в шофар.

Иона шофара в руках не держал, поэтому жутко нервничал, всё сомневался – получится у него или нет. Вдруг вместо могучего зова к небесам, несущего искупление и прощение, на каковой, собственно, рассчитывали беспечные обитатели витебских палестин, – не приведи Господь, он “даст петуха” и опозорит навеки Зюсю, Дору, своих лучезарных косматых предков и далеких пучеглазых потомков, взирающих на него из будущего с надеждой и упованием, короче, достойнейший род Блюмкиных от истока бытия до скончания света?

Ионе даже не позволили репетировать, поскольку трубление производилось строго в назначенный день и час, ведь это серьезная штука, абсолютно первозданная, суровый ритуальный рог, волей-неволей напоминающий о баране, который был принесен в жертву Авраамом вместо Исаака.

– Просто нонсенс какой-то, если в шофар начнут трубить кому не лень, когда вздувается, без всякого смысла и цели, – ворчал кантор Лейба, решительно отстраненный Маггидом от грядущего трубления, поскольку на прошлый Новый год он якобы трубил совершенно без огонька, а только по обязанности и по привычке.

Тяжелые вздохи измученной души и покаянные вопли кантор еще худо-бедно изобразил, зато финальный звук – *Ткиа гедола*, – венчающий празднество, вышел до того скверно, будто марал заблажил! Ничего общего с Божественным гласом, возвещающим о милосердии и прощении вполне разношерстной компании, собравшейся в синагоге на Покровке, с их мелкими злодействами, огромным самомнением, жульничеством, кутежами и разного рода передрыгами, в которые они то и дело влипали благодаря неумемному жизнелюбию.

В результате народ разошелся по домам, слегка неуверенный в том, что их без разбору вписали в Книгу благополучной жизни вместе со всеми праведниками Израиля.

Словом, Большой Маггид, пастырь Израилев, видящий насквозь душу каждой своей овцы в ее умеренных исканиях пути истинного, а все больше – разброде и шатании, счел недопустимым подобное финальное трубление, ибо многие силы он отдавал для искорене-

ния главного греха человеческого – уныния и любил одну притчу, ставшую впоследствии известным анекдотом.

– В один прекрасный день, – начинал Маггид рокочущим баритоном, почесывая подбородок, заросший курчавой бородой, – с небес раздался глас Господень, и тонких ушей коснулась весть, что моченьки больше нет взирать на эти неискоренимые Содом и Гоморру. И если через месяц люди не одумаются, то Он опять найдет сокрушительный Потоп, пока земную твердь не зальют воды божественного возмездия.

Католический ксендз воззвал к своей пастве:

– Братья! Одумайтесь! Начните новую жизнь! А не то через месяц Господь сотрет нас с лица Земли.

Батюшка обратился к православным прихожанам:

– Дети мои! Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Покайтесь!!!

Взбудораженные евреи тоже гурьбой повалили в синагогу. И когда шум стих, раввин объявил:

– Значит так: у нас есть месяц, чтобы научиться жить под водой...

Стеша боготворила Макара. Хотя они редко виделись, очень редко. У него была другая семья, сын, пасынок, бурная жизнь, полная скитаний и тревог, животворящих трудов, смертельной опасности, взлетов и низвержений.

Ничего, она его постоянно ждала, а когда Макар неожиданно-негаданно заглядывал к ним на мгновение с кульком карамели, кидалась ему навстречу с криком: “Папка!”

Стешины подруги детства Светка и Майка рассказывали, что в этом редком случае им приходилось тут же отправляться домой, ибо остальной мир для нее прекращал существование.

С пяти или шести лет она положила начало великой книге о Макаре и созидала ее до конца своих дней. Десятки заявок в издательство “Московский рабочий” и “Политиздат”, пятьдесят рукописных начал, двадцать средин, двадцать пять финалов и добрую сотню заглавий она возложила на алтарь своей любви.

Стеша только не знала – нужно ли писать исключительно правду или можно чего-то присочинять. Склоняясь к правде, она опять-таки оказывалась на перепутье.

Мемуары Стожарова изобилуют противоречивыми сведениями.

В парадном житии старик – выходец из потомственной семьи землепашца, по другой версии – отец Макара служил на красильной фабрике, изобрел несколько оттенков красок и сочинил книгу “Руководство красильным производством”, где для каждого тона подробно расписал рецепт и дал образец. Видимо, в какой-то момент он сменил поле деятельности, став носильщиком на Курском вокзале, я не знаю.

Далее Макар в жизнеописании сообщает, что на Первой мировой под Танненбергом угодил в немецкий плен, откуда бежал, хотя был тяжело ранен в ногу. В другом месте пишет: в той же самой битве среди немногих – мятый, битый, только не убитый – каким-то чудом выкарабкался из “котла”.

Причем всем этим взаимоисключающим казусам судьбы сопутствует неопровержимое вещественное доказательство. Например, в сундуке у него хранятся образцы тканей пятнадцати оттенков голубого, а также медаль “За храбрость” 4-й степени за побег из плена.

Попутно замечу, в тридцатые годы, скрываясь от ежовых рукавиц партийных соратников, Макар становится безымянным красильщиком в Раменском районе на станции Кратово.

Да и Стеша вечно будет перекрашивать все вещи в доме – из белых в желтый и голубой. Если часами варить желтое в синем, учила она меня, цвет выйдет изумрудный или болот-

ный... Зеленый, добавив красного, легко преобразовать в коричневый. А уж коричневый, – Стеша вздыхала, – только в черный.

Стожаров и сам был одержим писательским бесом. Костры графомании пылали в нем, разгораясь с годами, бросая грозные отблески на грядущие поколения.

“Сперва мир казался мне хаотическим и случайным, в нем не было стройной системы, – пишет Макар в своей автобиографии красными чернилами, ни капли не поблекшими, хотя и на пожелтевших от времени бланках по продразверстке. – В стройную систему укладывались только мама, похлебка тюря и картофельный драник. Все остальное вообще не выдерживало никаких логических построений. Но было еще что-то, что в моем представлении царило над вышеозначенными столпами, – это БУКВА.

Буквы завораживали меня, я впадал в ступор при виде букв. Мне казалось, что в букве заключена вечная неоспоримая истина, не подверженная тленью. Много лет я оставался во власти их притяжения.

Помню, вышел я на рассвете по малой нужде, и в летящих над Яузой журавлях помешались мне письма, исполненные смысла, который можно извлечь, имея тайный ключ. А журавли – это буквы, которые кто-то пишет на небесах.

В сарае у нас накурено, сумрачно, дымно, даже в ясные солнечные дни в воздухе стоял полумрак, но в щели бил нестерпимый свет, и в этих лучах, в том, как они соприкасались, скрещивались и скользили вдоль друг друга, чудились мне какие-то важные вести и послания.

Мне казалось, – кропал Макар, и пунцовые строки расплывались под его пером, как на расписке Фауста Мефистофелю, – если познать глубинную сущность букв, то можно управлять миром”.

Стеша говорила, во времена его детства у книжной лавки Сытина на приступочке вечно сидел какой-то татарин, похожий на седовласого ангела, по ошибке забытого на земле. Хотя он и пытался что-то непринужденно насвистывать в своем некогда коричневом сюртуке, щедро усеянном сальными пятнами, один только взгляд на его удрученное лицо и на всю эту робкую фигуру, от которой так и веяло нищетой, заставлял сердце Макара сжаться.

Старик тоже заметил Макара, как он приклеивался каждый божий день к витрине книжной лавки и зачарованно глядел на яркую обложку Букваря.

– Желаешь иметь Букварь? – спросил он понимающе. – Тебе надо купить его. И съесть.

При всем убожестве, старик держался с достоинством, перебирал четки, весь день посасывал сухари, курил козью ножку. Зимой и летом на коленках у него лежал Коран, прикрывал дыры на штанах.

– Как это съесть? – удивился Макар.

– А так! – сказал он, предложив Макару отведать табачку.

Дальше Макар не помнил – то ли задремал, то ли ему привиделось, что старый татарин вместо Корана держит в руках Букварь, вытаскивает оттуда страницу за страницей, протягивает Макару и бормочет:

– Читай! Во имя Господа твоего, который сотворил человека из сгустка. Читай! И Господь твой щедрейший, который научил каламом¹, научил человека тому, чего он не знал.

А тот послушно берет листы, откусывает, прожевывает усердно и глотает, ничем не запивая.

И они в устах его были сладки как мед.

¹ Тростниковое перо для каллиграфии.

Читать Макар выучился по вывескам на магазинах и трактирах, слоняясь вдоль Вороньей улицы и глаза по сторонам.

Так ли это? Много сорванцов болтается на улицах, но кто из них грамотный? Никто! А вот Макар наловчился угадывать буквы навскидку, точно и безошибочно распознавать – от простых татуировок на руках матросов до надписей, которыми пестрели вывески и витрины Вороньей улицы.

Началось его познание кириллицы в тот памятный зимний день, когда он увидел Букварь сквозь разрисованное морозными узорами стекло витрины книжной лавки Сытина. Букварь был раскрыт на букве “С”. Во всю страницу подробно и старательно сепией выписана сахарная голова, рядом с ней дымила чашка с чаем, на блюде – сколы сахара. И подо всем этим богатством начертано какое-то слово.

Макар прильнул к окну, разинул рот и собрался проглотить большую черную букву, похожую на месяц, сахарную голову, неведомое слово, состоящее из полукружия, двух острых башенок, скрещенных палочек и кружка на костыле, а потом запить это дело чаем.

Вдруг он почувствовал, что губы и язык прилипли к ледяной железной решетке. Он рванулся, и вместе со жгучей болью в его голове вспыхнуло слово “сахар”, выложенное кристаллами. Он даже ощутил его вкус, который на удивление был соленым.

После этого случая какая-то непонятная метаморфоза произошла с Макаром – он смотрел на буквы, и у него в голове они соединялись в слова, значение которых было ему понятно. Как вывески, обрамленные вензелями, всплывали в его мозгу: “Баранки маковые”, “Духовитый О-де-Колонь”, “Подпруги и прочие конские причиндалы, торговля Бурыкина”.

С тех пор он стал читать бегло и свободно, без всяких затруднений, вечно упрашивая отца купить ему в лавке Сытина какую-нибудь книжку. Поскольку книги, заявил Макар отцу, а ведь ему не было тогда и шести лет! – книги, мать вашу, чтоб вы знали, – он так и сказал носильщику Стожарову, – суть “жизнь наша – щи да каша”!

Свой веселый нрав Маггид получил благодаря “корням души” – неисчислимым заслугам предков во всех поколениях. Он выглядел очень странно, ходил как корова и озирался, словно тигр. К тому же он мог дотянуться до носа кончиком языка. Громкий смех его оглашал округу, когда речь шла о пустяках жизни, каждого встречного готов был обнять, и простить, и отговорить вешать нос на квинту.

Но в том, что касалось божественного промысла, он становился непреклонен.

– Бог, – говорил ребе, – находится вне нашего понимания. И разговор с ним – трубление в шофар – непредсказуем, непостижим. Даже я не могу предугадать, чем это дело обернется.

Поэтому Большой Маггид решил возложить сей груз на плечи отрока Ионы, пусть юного и неоперившегося, зато встречающего каждый день изумлением и восторгом.

Ионе сказали только, что трубить следует правой стороной рта. И шофар надо обратить к небу. А там уж, под водительством Маггида, почует он источник степенного вселенского ритма и наверняка прорвется в неизмеримое.

– Что? – Зюся счел это сумасбродством. – Йошка – трубить в шофар? Этот сорванец? Кому такое в голову взбрело?

– Боже мой! – всплеснула руками Дора Блюмкина.

Одно дело, мальчик подыгрывает ей на кларнете, когда она возьмется напевать вальсок “Настанет день, мой принц придет”, и те, кто в это время бежит по своим делам мимо распахнутого Дориного окна, останавливаются и забывают, куда они, собственно, бежали. Иной раз целая толпа соберется под окном, подпевает и пританцовывает. А тут – на! тебе! Ее сыночку придется сменить кларнет на шофар, и вся Покровка, вслушиваясь в эти звуки, будет умирать от страха, вспоминая о Судном дне.

Зюся даже попенял Большому Маггиду:

– Ребе, подумай хорошенько! Я понимаю, если б Йошка был сыном раввина...

На что прозорливый Маггид отозвался, сверкнув смоляным глазом:

– Брат сердца моего! Тот, кто благословил наших отцов Авраама, Ицхака и Якова, кто дает пищу странникам и милостыню нищим, прощает нам все грехи, отводит от нас болезни и посылает удачу во всех делах, тот и дарует благословение твоему сыну, ввергнутому в печь испытания.

И, увидев, что Зюсю он не убедил, добавил:

– ...*В конце концов, этому вовсе не обязательно быть приемлемым.*

Однажды в чулане, где обитатели барака хранили свои скудные припасы, Макар увидел книгу. Мать послала его принести корзинку с остатками сушеного гороха, но гороха там и след простыл, осталось лишь пустое дырявое лукошко с катышками мышиного помета. А вот рядом лежала книга: “Жюль Вернъ. Дети капитана Гранта”.

Как она туда попала, одному богу известно. Издание Эдуарда Гоппе, перевод Марко Вовчок, С.-Петербург, 1881 год, в пожелтевшей обтрепанной обложке, уголки ее обломились от сухости, малость голуби попачкали, края погрызли крысы, но листы прошиты суровой ниткой, и можно было не бояться, что она развалится.

На ее страницах Макар обнаружил восхитительные гравированные иллюстрации. На одной была изображена яхта “Дункан”, за бортом высились прибрежные горы островов Зеленого мыса, над бушпритом реяли чайки, на носу стоял знаменитый географ Жак Паганель с его юным другом – Робертом Грантом. И подпись:

“Бойкий мальчуган! – сказал Паганель. – Я обучу его географии”.

Макар спрятал книгу за пазуху и весь день носил ее там, чуя из-под рубахи запах соленого моря, слыша крики чаек и поскрипывание канатов. Ему даже казалось, что книга шевелится у него на животе, как живая.

В сумерках Иона прибегал на обрыв и подолгу сидел на бревне, подперев кулаками щеки, взирая на безмерные миры вселенной, прислушиваясь к завихрению маленьких нот в этой спокойной поющей необъятности, ждал, когда Ботик вернется с завода, и они пойдут вместе бродить до утра по полям и лугам.

Ботик осилил четыре класса гимназии и был отдан в люди – на игольный завод. Он делал дырочки в иголках, поэтому до старости легко вдевал без очков любую суровую нитку в игольное ушко.

Порой появлялся неслышно из темноты – усаживался рядом с ними Сева-барабанчик, божий человек: как похороны – он всегда шагал впереди, стучал короткими палочками в маленький барабанчик.

Если долго ничего не происходило в этом духе, Сева барабанил во все без разбору двери и спрашивал:

– У вас нет покойника?

Боялся пропустить.

Как-то раз на бревне, на речном обрыве Иона обнаружил равви Маггид, неподвижно глядящего вдаль. Он даже не повернул головы, когда Иона приблизился. А после долгого молчания произнес:

– Хочешь знать, как трубить в шофар? Ты должен стать просто ухом, слушающим, что говорит в тебе вселенная. Но как только ты начнешь слышать в себе лишь самого себя, немедленно остановись.

После чего Иона окончательно струсил, и дрожал без остановки до самого Нового года.

Макар смотрел на мутные воды Яузы, на теток в черных балахонах, что тащили вороха тряпок на берег, и показалось ему, что дырявая лодка, привязанная к колышку, это не лодка вовсе, а корабль “Форвард”, а на носу его стоит капитан Гаттерас и машет ему рукой.

– Счас, счас, – закричал Макар ему, – только за ребятами сбегаю, одному-то боязно!

И понесся к себе во двор, где друзья играли в “балду”.

– Слушайте, Шурупчик и Кумпол, и ты, Мурло, мы уплываем в Африку, в экваториальное Конго, хватит тут пыль плотать, на хрен всё! Ждет нас совсем иная жизнь, охота на тигров и страусов. Ты, Мурло, пробовал когда-нибудь яичницу из страусиных яиц?

– Да я куриное яйцо последний раз на Пасху ел!

– Так вот, теперь ты будешь есть каждый день страусиные яйца и пить кокосовый сок! У нас на “вонючке” стоит у причала корабль, ну, привязана одна лодка, мы ее починим, оборудуем как яхту, соберем сухари, вещей нам много не надо, в Африке круглый год тепло, и айда в плавание. Я путь знаю, через Оку, Волгу до Астрахани, потом Черное море, Средиземное море, Суэцкий канал, а там – Берег Слоновой Кости...

Его друзья стояли как чурбаны, вытаращив глаза. Очарованные странными названиями, они повторяли за Макаром: “Берег Слоновой Кости, Трансильвания, Лаперузы...”

– Нас ждет капитан Гаттерас, – звал их Макар, – и мы взойдем на “Форвард”, трехмачтовый чайный клипер, потому что наша яхта ни к черту не годится для путешествия по океану. Именно он, капитан Гаттерас, доставит нас в Конго. А там мы сойдем, черкнем пару слов родне, что к Рождеству нас не ждите, да и к Крещению, мы в Африке, в экваториальном Конго, живем себе поживаем, устроились на кокосовой фабрике красильщиками.

Все тут же побежали к реке, думать, как можно лодку оборудовать для кругосветного плавания. До самого заката они сидели на камешках над тихими мутными водами Яузы, составляли список вещей, которые нужно взять в плавание. Макар писал на клочке газеты, а Шурупчик, Кумпол и Мурло смотрели на него как на волшебника.

– Рыжий, а Рыжий, а ты капитаном будешь? – вдруг тихо спросил его Шурупчик, светлоглазый паренек, схватив худой рукой за ворот Макаровой рубашки. – Если будешь, я за тобой – хоть на край света!

За день до Дня трубных звуков Ионе приснился сон, как затонул корабль, на котором он куда-то плыл. Днище легло на шельф морской, а верхушка мачты осталась торчать из воды. Никто никогда не видел в Витебске настолько огромных кораблей – ни во сне, ни наяву.

Иона всплыл и уцепился за мачту.

Небо было ясным, земля тихой, улицы чистыми, свежий ветер осенний веял по просторам мира. Дом молитвы был полон людей, закутанных в талиты. Казалось, их головы увенчаны серебряными коронами, одежды были белы, а в руках они держали книги. Море свечей горело в длинных ящиках с песком, от них шел чудесный свет и запах.

Ботик говорил, он пришел в синагогу морально поддержать друга в трудную минуту и был поражен этим светом, мерцающим пламенем, запахом меда от восковых свечей, а главное – какой-то немыслимой святостью, исходившей от знакомых и примелькавшихся на улице людей.

Вот Хазя-селедочник примостился в уголке возле ящика со свечами. Талит, свисая, чуть ли не всего закрывает его, хотя он богатырь, не в пример тщедушному бухгалтеру Ною, у которого из-под талита высовываются краешки черных нарукавников...

– Что ж ты на праздник не снимешь нарукавники? – спрашивали его.

– Боюсь, Господь меня без них не узнает... – отвечал Ной.

Из-под лилейного покрывала выглядывал усатый и бородатый маслобойщик Самуил. Он помогал старенькой маме делать на продажу масло. Однажды майским безоблачным

днем в Витебске случилось солнечное затмение. Над городом медленно погасло солнце, и вспыхнули звезды. Естественно, многие решили, что наступил конец света и начинается Страшный суд. Все онемели, оцепенели. И в полной тишине раздался вопль дяди Семы:

– Мама! Давай масло скорее есть!!!

Подумал: остальное ладно, а масло – жалко.

Среди лавочников с Базарной площади – кто с черной бородой, кто с каштановой – высилась импозантная фигура Менделя Каценельсона, президента консолидации пекарей. Тут же благочестивый отшельник, кантор-песельник, какие-то оборванцы в пыльных чеботах, уличный парикмахер, банщик, воришка, полицейский – явились воздать хвалу Господу, восхвалить его на лире и арфе, восхвалить его с тимпаном и в танце, на струнах и флейте, на громогласных звонах.

Ибо каждая душа, говорил Маггид, это искра, отлетевшая от единой исконной души – той, что целиком обретается во всех душах, так же, как моя душа, – он вскидывал косматую голову и помавал, как орел крылами, – присутствует во всех членах моего тела!

Ботик стоял у окна: мельница, ямщик на булыжной мостовой, торчащая вдали церквушка и каждый прохожий были как на ладони.

Синева в окне синагоги сгущалась под молитвенный гул. Вместе с запахом поля, хлева, дороги в окна капля за каплей просачивались звезды. И в серебристом одеянии, окидывая пламенеющим взором свою разноперую конгрегацию, с тучами и звездами просочился в синагогу хоть и великий, но очень взбалмошный и сумасбродный Маггид. Его нутро было полно энергии и сияло, словно солнце после затмения. Народ прямо диву давался, какими такими добродетелями они заслужили настолько лучезарного раввина.

Встав у ковчега, раввин склонился благоговейно, помедлил, чтобы все чувства пришли в тишину и мысли его питомцев оставили все земное. Затем он поднял Мафусаиловы веки на этих вечных странников, ежесекундно забывающих о высоком жребии своем, на эти щиты Земли, которым еще шататься и трещать на роковом перекрестке времен.

– Братья сердца моего! – произнес он как можно благосклонней. – Хотя Отец наш даровал Тору всем народам и всем языкам, мы одни на Земле восприняли ее. Поэтому возвысил Он народ Авраама над всеми языками и освятил нас заповедями Своими. Остальные народы, – горестно вздохнул Маггид, – это дело проморгали. В результате нет Его в храмах иных, кроме наших, и станут иные народы вовек поклоняться тщете и пустоте.

Все похолодели, сожалея, конечно, о недалёковидности других народов.

– Да соединимся мы с Твоим всемогущим Именем! – громоподобно воззвал Маггид в такие выси, что у тех, кто осмелился бы взглянуть, куда отправил свой зов раввин, попадали бы с головы ермолки. – Да рассеются враги Твои! – пророкотал он, и перекаты этого грома обрушились на детей Авраама, так что тени заплясали по стенам, а свечи разгорелись и полыхнули, и все зажмурились.

Главное, никто не чувствовал тесноты, хотя храм был переполнен. В тот день Ботик увидел чудо: люди стояли тесно друг к другу, но когда они падали ниц, вокруг каждого оставалось еще по четыре локтя свободного пространства.

– От Тебя, Господь, и величие, и могущество, и великолепие, и удача на поле брани, и слава!.. – возносил свою Песнь Маггид. – Все народы, рукоплещите и восклицайте Господу голосом ликования. А вам, – он погрозил кулаком своей пастве, – следует знать, что плач, свершенный в этот день, не будет искренним, если он полон уныния, ибо Божественное Присутствие коренится лишь в сердцах радостных. Пойте Господу, пойте; пойте Царю нашему, пойте! Ибо Царь всей земли – Господь!

Прихожане, готовые слушать Маггида часами, испытывая неимоверное счастье оттого, что видят его и дышат с ним одним воздухом, впадали то в экстаз, то в пучину отчаяния – до тех пор, пока их не охватило то же рвение.

Это был миг такого накала, будто внезапно все очутились в точке вращающихся миров. Неслышимые ухом вибрации залили храм, наполняя легкие вечным воздухом, словно воскрешая. Народ стоял наэлектризованный, в ожидании первой ноты партитуры бытия, поскольку не оставалось ничего другого, кроме того, чтобы произнести благословение и вострубить в шофар.

Тогда проклюнулся, вклинился в Песнь раввина кантор Лейба:

– Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, повелевший нам внимать звукам шофара...

С этими его словами в кипенном кителе выступил на авансцену Иона. Перво-наперво ему надо было провозгласить внятно и торжественно стих, который он зубрил днем и ночью; уж на что Ботик позабыл-позабросил учебу, даже ему навсегда врезалось в память: “Блажен народ, ведающий трубление, Господь. В свете лица Твоего будут они ходить. И в благоволении Твоем возвысится рог наш”.

Однако от всей этой взвинченной атмосферы Иона лишился дара речи. В полной растерянности замер он в центре храма – невинный, непорочный, красный, как свекла, и, по мнению Ботика, смахивал на долговязую испуганную невесту.

Созерцая ясный свет своей души, Маггид не сразу заметил замешательства трубящего. Поэтому Иона устремил панический взгляд на кантора Лейбу. Но тот смиренно опустил глаза, а сам подумал:

“Рано тебе, парень, трубить в шофар. И твой Маггид тебе не поможет. Тоже мне, чертог мудрости! Псалмы Давида пересказывает своими словами. А перед шофаром, милые мои, должно прозвучать истинное Священное Писание. Иначе шофар не затрубит. И вся ваша праздничная служба – кобыле под хвост. Ну, видно, таков Божий промысел: я, после того как они опозорятся, буду раввином. А этим двоим – прямая дорога в Тартар!”

Лейба уже украдкой потирал ладони, воображая масштаб грядущей катастрофы.

Но вдруг в абсолютной тишине раздался шепот Ботика.

– Бла-жен на-род... – сложив ладони рупором, он стал подсказывать Ионе. – Бла-жен на-род... – отчаянно пытался Ботик вывести Иону из ступора.

Иона потом говорил, сколько они с Ботиком в жизни выручали друг друга – но этот случай был самый вопиющий.

Шепот Ботика вмиг опустил Маггида с небес на землю.

– Забыл, Иона? – спросил он. – Благословение трубящего запомнил? И Лейба в рот воды набрал? Ну, ладно, ничего. Давай, труби! А ты, брат сердца моего, – сказал раввин Ботику, – поди-ка с глаз долой.

“Ну-ну, – подумал кантор Лейба, с любопытством наблюдая, как новогодняя молитвенная служба поехала вкривь и вкось. – Труби-труби, пичуга, сын настройщика аккордеонов...”

Дрожащими руками Иона поднял шероховатый костяной рог и поднес к губам. Когда Маггид назвал первый звук – *ткиа*, Иона попросту загудел. И это гудение проплыло над головами молящихся, касаясь макушек, и сразу оборвалось.

Из полусотни человек, стоявших в храме, ни один не шелохнулся, все придержали дыхание, понимая – если и дальше так пойдет, никто из них в наступающем году не будет записан в Книгу жизни.

Второй звук – *шварим* – тяжелый, прерывистый, заметался от земли к человеку, обратился к земле и заглох.

Только третий – *труот* – получился пульсирующий, раскатистый и гулкий, – к большому неудовольствию кантора Лейбы и громадному облегчению Ботика и Зюси.

– Ткиа шварим труот ткиа, ткиа шварим ткиа, ткиа труот ткиа... – указывал путь к небесам Большой Маггид, Иона доверчиво следовал этим указаниям. В ушах у него стоял какой-то звон, в глазах помутилось, но голос шофара креп и сгущался.

Иона трубил и трубил – то “воем воющим, вздыханием вздыхающим”, тогда народ видел сполохи пламени, гору дымящуюся и, в страхе отступая, шептали слова раскаяния: виновны мы, были вероломны, свернули с правильного пути, творили зло, присваивали чужое, давали дурные советы, лгали, бунтовали, враждовали, вредили, заблуждались, вводили в заблуждение других...

– Все съезжились, помрачнели, – рассказывал нам Ботик, схватившись за голову. – Ей-богу, у меня сердце бухало, как будто вот именно я обвинял невиновных, грабил, глумился и свернул с правильного пути! До того мне страшно стало, как никогда потом не было! Даже на Гражданской в неравном бою! Даже когда меня ранили смертельно! И я задрожал от этого ужасного ужаса, просто затрясся. Смотрю – все вокруг содрогаются с головы до пят, и все рыдают. Слезами обливались Зюся и Самуил, бухгалтер Ной сокрушенно утирал щеки черным нарукавником.

А кантор Лейба в звуке раскаянья “шварим” услышал, или это было наваждение? Кто-то прошептал ему в самое ухо: “Не пренебрегаешь ли ты Мудрым, постоянно проживая с ним? Чтишь ли ты его, для блага людского рода высоко поднявшего зажженный свой факел?”

– Господи! Прости мне грехи – известные тебе *и неизвестные!* – посыпал голову пеплом Мендель Каценельсон.

Затем звук шофара, непроницаемый, плотный, тягучий, воспарил в вышину. Он успокаивал, исцелял, вносил в сердце ясность и умиротворение.

– Все звуки, исходящие в это мгновение от домов и полей, – возглашал Маггид, – от рек и морей, от гор и диких орлов, сливаются в мелодию, рождающую сердечный трепет мира. Пойте Царю нашему, пойте то, что поет каждую минуту и в каждом камне.

У него и правда иногда получалось довольно близко к Священным текстам, а порой из уст его, охваченных восторгом, изливались песнопения великого ликования – сплошь из междометий, стонов и восклицаний, не предусмотренных никакими правилами.

Иона вострубил крик радости и вдруг увидел вспышку света, иного и странного, первооснову Бытия, весь этот мир и что он содержит, сияющего цвета, и услышал слова: “Крепись, сын Мой! Тебе предстоит пережить великое страдание, но не бойся, ибо Я буду с тобой!”

Он был ослеплен, пол зашатался у него под ногами, но перед тем, как потерять сознание, Иона выполнил последний долг трубящего: его накаленный шофар возвестил о Божественном милосердии и прощении.

Весь в слезах кантор Лейба подскочил к нему, оттащил в сторонку, побрызгал лицо водой. Потом взял из рук Ионы шофар – горячий, немного бугорчатый, шишковатый – и долго глядел на него изумленно, как будто впервые видел.

В тринадцать лет Ботик влюбился в девочку Марусю. На Рождество у нее в доме украшали живую елку, Маруся – бумажными розами, Ботик с Ионой красили картофелины: Иона серебряной, Ботик золотой краской. Еще они золотили грецкие орехи и на веревочках развешивали на ветках. А потом уже с улицы долго смотрели на мерцающую елку в темных окнах и жевали засахаренные груши, которыми их снабдила на дорожку бабушка Маруси.

Ботик говорил, когда он впервые увидел Марусю, на ней было платье в маленький синий цветочек. Что очень шло к ее голубым глазам. Еще у нее были каштановые кудри, довольно длинный нос и белые зубы, все это разом свело его с ума. А что окончательно присушило к ней Ботика – она всегда встречала его улыбкой!

– Я когда тебя вижу, прямо весь... – Ботик бормотал.

– Ну? Ну?... – тормошила его Маруся.

– Никак не подберу слова.

– А все-таки?..

– ...Трепещу!

Ботик съехал с катушек от своей сумасшедшей любви, он мог часами бродить под ее окнами, ждал Марусю из гимназии, вечерами они катались на коньках в Городском саду. Она в белом кроличьем капоре мчалась на снегурках, привязанных к валенкам, а у него коньков не было, откуда у него коньки? Поэтому он просто бежал с ней рядом – вдруг она поскользнется, тогда он подхватит ее, и она не шлепнется на лед, не ушибет локти и колени.

Как-то раз они пришли засветло на каток, небо голубое, высокое, золотой закат, но стали наплывать облака, сгущаться сумерки, в парке зажгли фонари, снежные дорожки окрасились теплым светом. В те времена там бублики продавали, шоколадные коврижки. Каток был окружен гирляндой разноцветных лампочек. Звучала музыка. Падал снег.

...Внезапно закружились летние карусели. Кругом сугробы, а сквозь густой снегопад сияют и крутятся пустые кресла в вышине, поскрипывая несмазанными шарнирами.

Ботик замер, почувствовал себя парящим в воздухе, совсем прозрачным: что только небо одно на Земле – без земли, и все неописуемо невесомо, открыто и сверкает.

Так он стоял, откинув голову, с застывшим взглядом, снег падал ему на лицо, а он никого не замечал вокруг – даже забыл про Марусю.

Кстати, поэтому его и вытурили из гимназии, что он выпадал из действительности. Задумается и полетит неведомо куда, в какие-то фиолетовые дали. Его зовут к доске, трясут, колотят линейкой, треплют за ухо, а он сидит себе, не шелохнется, пока душа не вернется обратно в тело – по звонку. Тогда он вскакивал и бежал на перемену.

Естественно, Марусина родня сомневалась, что Ботик подходящий жених.

– Твой Ботик, – удивленно говорила ей бабушка, – сегодня задумался и выпил пять чашек кофе и шесть – чаю.

Маруся никого не слушала, она твердо знала: Ботик – ее судьба и любовь. Единственная. На всю жизнь. И хотя родичам было любопытно, что он там пишет, этот грамотей, в своих цидульках, Маруся никому не позволяла читать его письма.

Он ей писал:

“Сколько яблок! Сколько лопухов и ромашек, сколько мух, пауков и жуков, а ворон на дубу! А камней и травы! А облаков, а воды в колодце – и все такое живое!” – заклеивал слюнями конверт и бежал на почту. Конная почта в Витебске стояла на углу Оршанского и Смоленского шоссе.

Вёснами напролет он ждал ее на речном берегу, растянувшись на траве, прижав босые пятки к дубу. Яблони, вишни, всё цветет! Внизу одуванчики, полевые анютины глазки. Головы куликов торчат из травы. Гуси – они там тучами ходят. Орел низко пролетит, зажав в клюве мышь.

А в реку войдешь – рыбы за ноги хватают. Двина – рыбная река: сомы, толстолобики с поросенка – не утянешь.

Однажды черная собака стояла в реке по грудь – полностью неподвижно, – угольный хвост лежал на поверхности воды, и такой покой был у нее в глазах, что Ботик дрогнул. Как будто все загромождение земли улетучилось куда-то, и он попал в самое Сердце жизни. Оно было так полно и так пусто. И в этой полноте пустоты не было ни Ботика, ни Маруси, ни черной собаки.

И снова он целый час молчал как пришибленный, хотя Маруся давно пришла, ее мелодичный голос волновал Ботика, она звала его, звала... Лишь только очнулся, когда Маруся – сама – в первый раз обняла его и поцеловала.

Летом они гуляли в лесу, пахло медуницей, кричали кукушки, удода, соловьи...

– Знаешь, – говорил ей Ботик, – когда я сижу один, я часто разговариваю с Ионой, с тобой. Спорю, в чем-то убеждаю!!!

– А я думаю: расскажу Ботику! И – начинаю рассказывать!!! – заливалась Маруся.

Мы веселились с ней, прыгали, просто катались от смеха по траве, – говорил мне Ботик, уже старый, лысый, на даче в Валентиновке. – Даже ничего нет смешного-то, она идет – посмеивается. Ты у нас в нее: вечно рот до ушей...

И она всё знала всегда.

– Вот лаванда, – говорила, – вон шалфей...

А я ведь жил и понятия не имел – где что.

В одно прекрасное утро они набрали на пруд лесной, заросший ряской, увидели головастики, как они рождаются из икры, и листья кувшинок становятся большими прямо на глазах. Лягушки поют, заливаются соловьи.

И тут она сказала:

– Даже когда мы еще не были знакомы, я уже тебя знала и любила.

Она спрятала лицо у меня на груди, а я обнял ее и так крепко прижал к себе, с такой силой – она даже закричала. Кажется: “Дурак!” Но точно не “Идиот!”. А потом тихо сказала: “Я хочу на тебя посмотреть”. Тогда я выпустил ее из своих объятий, – рассказывал мне Ботик, – и быстренько скинул рубаху со штанами.

Маруся глядит на меня – ни жива ни мертва, она ведь совсем не то имела в виду. А я застыл перед ней в чем мать родила, весь объятый пламенем, руки у меня красные, горячие, энергией так и пышут. Что такое жизнь? Ничего не понимаю!

Ботик стоял, вдребезги пьяный от чарки, наполненной страстью, не зная границ и преград, можно сказать, заполнил собой целое мироздание, весь разгорелся, словно финикийский бог солнца – Гелиогабал...

И в эту-то самую минуту, откуда ни возьмись, на него налетели шершни! Чудовищные шершни полосатые, гудящие, как люфтваффе, резали распаленное пространство вокруг Ботика со скоростью звука, впиваясь в него. Отскакивали и снова таранили. Он бросился бежать, ломая ветки, продираясь сквозь колючие заросли шиповника, но те упорно преследовали его, пока он не плюхнулся с головой в пруд.

Рой шершней кружил над прудом, казалось, их жуткое жужжание проникало через водяную толщу. Ботик боялся нос высунуть, только пускал пузыри. Храбрая Маруся с ревом кинулась в воду, размахивая его штанами над головой, словно шашкой. Она была так страшна в этой битве, что шершни испугались и улетели.

Но Ботик все медлил и медлил всплывать. На дне он сразу же увяз в иле, глаза его начали привыкать к подводному полусумраку. Ласковая вода, синева, он стал оглядывать заросшие мхом валуны, ствол утонувшего дерева, с которым слились два тритона, и если б не гребни ящеров и не пятнистое оранжевое брюхо, их было бы совсем не различить на черной набухшей коре...

Крупная улитка с завитой раковиной ползла, высунув широкую плоскую ногу и упираясь ею в грунт, вода плавно обтекала черешки кувшинок.

Неясные тени появлялись, скользили, исчезали в глубине, мягкий свет менял свои оттенки. В ушах стоял плеск, тихий рокот, какие-то обрывки разговоров, ворчание. В подводных колоколах паучьих гнезд серебрились воздушные пузырьки.

Над прудом горело солнце, его лучи, преломляясь, тянулись в этот призрачный мир сквозь болотную ряску. Маруся уставилась на водную пелену, покрытую рябью, ее отражение плясало и ломалось в зеркале пруда, сливаясь с облаками и стрекозами.

Вдруг ей показалось, что Ботик превратился в рыбу.

И правда, в мутной глубине сверкнул серебряный бок и чернильный глаз в радужной оболочке.

– А ну, превращайся обратно! – заорала Маруся. – А то я превращусь в птицу и улечу, и ты меня больше никогда не увидишь!

Ботик вынырнул, встряхнулся, забрал у нее свои штаны и двинулся к берегу.

На плече у него блестела серебряная чешуйка.

“В школу я поступил сам, когда мне было девять лет, – писал нетвердою рукою Макар по требованию Стеши, а иногда диктовал ей, это видно по перемене почерка. – Один, без родителей, у них и в мыслях не было меня чему-то учить, обивал пороги училищ. Мне везде отказывали. Только в Петровско-Рогожском Начальном училище Матрена Семеновна Николина заинтересовалась, «как это я сам иду поступать в школу». Проверила, умею ли я читать и писать, и объявила, что считаюсь принятым.

Учился я хорошо, в каждом классе сидел по одному году. Зимой в учебное время ежедневно получал я от матери две копейки на завтрак, отправлялся в школу всегда с выученными уроками, а летом в каникулы с самого утра и до поздней ночи бегал по улицам, копался в грязи и навозе Яузы и впитывал в себя пороки уличной жизни.

Куриль и играть в азартные игры я тогда уже любил. Но особая страсть у меня была к чтению. Майн Рида, Жюль Верна прочитывал по нескольку раз и грезил ими. С товарищами собирался бежать на Мадагаскар, чтоб там охотиться на тигров. Мы были пойманы, выпороты, струсили и никуда не поехали.

Начальное училище окончил с похвальным листом. Было очень больно расставаться со школой и товарищами, и в день напутствия, которое нам дала учительница, все мы были невеселы.

Я хотел учиться дальше, стать ботаником, как Паганель, меня влекли естествознание, физика, химия, астрономия, я интересовался инженерией, мне страстно хотелось узнать, как устроен мир, понять свое происхождение. Я вздумал отыскать Древо Жизни, в стволе у которого прячется бессмертие, искал его среди деревьев, которые превышали сроки человеческой жизни: дубов и лиственниц, ив и яворов, потом на каторге в Сибири – искал его среди вековых кедров, на фронте Первой мировой в Восточной Пруссии – среди буков и грабов, надеялся когда-нибудь, когда настанут лучшие времена, свершится мировая революция, найти его среди баньянов, баобабов и секвой...

Но о дальнейшем учении ни мать, ни отец и думать не хотели!

– Слыхала? – говорил Макар Макарыч Дарье. – Твой сын вздумал стать профессором! Ты уже выучился, Макарка, и должен помогать нам, восемь рублей на дороге не валяются, ступай, поучись, как жить в чужих людях. Не балуйся там, старайся, тебя заметят и, может, прибавят рублишка два.

Так что в одно ненастное утро я надел фартук, приготовленный для меня заботливой рукой матушки, и отправился к Беку – клеить пакеты из бумаги для деревянных сапожных гвоздей. Три тысячи пакетов в день, которые клеил я с семи утра до восьми вечера, сопровождали вечные оплеухи и подзатыльники. Стоило мне зазеваться, Бек огромной волосатой рукой хватал меня за чуб и ухитрялся так искусно отодрать, что потом целый час сверкали искры в глазах.

Еще любил он, если провинятся сразу двое, схватить за волосы одного и другого и таскать до тех пор, пока вдруг не запоет: «Ах вы, сени, мои сени», а потом стукнет голова об голову, что оба кубарем летели на пол.

При таком своеобразном воспитании у мальчуганов, которых работало там человек двадцать, естественно, возникала мысль как-то насолить Беку, и мы крали его кленовые

гвозди! А если не удавалось краденое пронести и продать сапожникам, бросали их в отхожее место.

Сперва я тоже бросал, а потом задумался – правильно ли я делаю, что бросаю гвозди в нужник. Деревянные гвозди вечные в отличие от железных, те ржавеют, а эти живут дольше человека. Ибо символ жизни искал я среди деревьев, древо жизни, приносящее плоды, дающее нам каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов”.

В черном длиннополом сюртуке, под которым виднелись поддевка и рубаха, с тощей бородой, пегими усами и в потертой фетровой шляпе Шлома Блюмкин бродил по деревням, зажигал на многолюдных родственниках застольях. Он был худ, и бледен, и близорук, но из-под засаленной тульи глядели на тебя сияющие глаза – то серые, в синеву, а иногда какой-то немыслимой голубизны и прозрачности, точно смотришь с обрыва в чистейшую хлябь морскую, и видно, как там проплывают рыбки.

Все ждали, изнемогая, когда Шлома начнет прелюдию. Мягкой рукой, никакого “крещендо”, так гладят собаку, он принимался водить смычком по старенькой скрипке, нащупывая мелодию, пробуя на вкус, на цвет, буквально осязая ее изгибы и повороты, неторопливо разукрашивая восточными орнаментами, трелями и причудливыми росчерками. Легкими движениями сопровождал он звучащий поток, не вмешиваясь в него, но и не пропустив животрепещущий миг, когда в полноводную “Хасидскую сюиту” властно вторгнулся стук судьбы, голос рока из Пятой симфонии Людвига Ван Бетховена: та-та-там! Прум-прум-прум! Та-та-там!!!

Это был ужас, извержение Везувия, слушатели втягивали головы в плечи, казалось, над ними летят раскаленные камни, от которых еще никто не погиб, но уже многие имеют шрамы и легкие ранения.

После чего в ту же самую дверь, вслед за “стуком судьбы”, врывались бессарабские напевы – и лишь бесчувственный чурбан мог усидеть на месте и не пуститься в пляс.

В игре его всегда пульсировала какая-то безумная искра, особенно когда Шлома окончательно съезжал с катушек, обратившись в сгусток бешеной энергии. И этот яркий огонь и зорный свет охватывали тебя и разжигали в груди восторг такого невыносимого накала, что в разгар фрейлахса или кампанеллы разгоряченные гости сшибались лбами – и ну мордасить друг друга, в кровь разбивая губы и носы, а потом обнимались, целовались и просили прощения. Недаром Блюмкин-отец любил повторять:

– Зюсенька, сыночек, во все надо правильно вложиться – иначе не будет никакой отдачи.

Но Шлома не был бы Шломой, если б неистовые динамические фиоритуры под его смычком не оборачивались томительными чарующими мелодиями. При этом он добивался пронзительной певучести *cantabile*. В ней слышался горький плач над загубленной жизнью, всхлипы и стоны, мольба о милосердии, и – “тех-тех-тех”!.. Словно курица кудахчет! Все лишнее, пустое, мелкое уносится прочь, и остается неуловимая звенящая беззаботность, которая наполняет тебя от макушки до пяток.

– Всегда надо мыслить на широкий жест, – говорил Шлома Зюсе, пареньку с оттопыренными музыкальными ушами, который повсюду таскался за Шломой, чтобы забиться в уголок на шумной попойке, где на столах уже красовались редька в меду, пряники, миндальные баранки, медовый хлеб, яблочный пирог, рыба, мясо, жаркое, вина, пиво, все, чего хочешь, скушать сразу или кусочек утки и уже в полусне увидеть, как Шлома достает из футляра свою волшебную скрипку.

Однажды Зюся не вытерпел и поздней ночью, когда все затихли, решил посмотреть, что у нее внутри, откуда льются эти божественные звуки.

Он сел на кровати и огляделся.

Шлома спал, крепко обняв Рахиль, надо сказать, постоянно беременную.

Рахиль – смуглолицая, чернобровая, была двадцать первым ребенком в семье, последней у своих родителей. Теперь у нее – по лавкам: Славка, Зюся, Лена, Беба, Исаак и годовалая Софочка. Чтобы прокормить такую ораву, Шломе приходилось выкладываться из всех сил. Денег его концерты приносили не ахти сколько, но заработок верный, и ночью спишь.

За ширмой в углу – бабушка Хая, Хая Ароновна, маленькая, седенькая, она тихо уга-сала. Рахиль с ней была резка.

Хая Ароновна:

– Сколько времени?

– Я же вам полчаса назад говорила, сколько времени.

– Мои часы, и я не могу узнать, сколько времени???

Или к ней кто-нибудь из внуков заглянет – она обязательно обратится с вопросом, к примеру:

– Ну что, папа вышел из тюрьмы?

– Да он был в Гвоздевицах на гастролях!

– Они из меня хотят сделать дуру! – всплескивает руками Хая Ароновна. – Как будто я ничего не знаю...

На печке – дедушка Меер, очень религиозный иудей. Он все время молился.

– Бу-бу-бу...

Раз как-то Зюсю поколотили на улице, дворовые хулиганы сказали: “Ах ты еврей!” и его побили. Он пришел: “Дедушка! – говорит. – Меня побили!” Меер ответил: “Ты не должен расстраиваться, Зюся. Это им хуже, что они тебя побили. Это им должно быть плохо!”

Ладно, Зюся откинул одеяло, на цыпочках подкрался к футляру – тот стоял в изголовье у Шломы, отец порою во сне прикасался к нему, чтобы удостовериться, что скрипка рядом. Его бы воля, он спал, одной рукой обняв скрипку, а другой – Рахиль, а то и – (не нам, конечно, судить, но смело можно предположить, по опыту зная, что за люди художники и музыканты!) – одну только скрипку.

Зюся был хорошо знаком с этим сундучком. В нем, кроме скрипки, хранился целый тайный мир человека с тонкой музыкальной душой: внутри на крышке приклеена фотография самого Шломы, худого, длиннорядого, с пейсами, портрет Рахили с детьми, снятых прошлым летом Сигизмундом Юрковским, известным и уважаемым в Витебске человеком, его фотоателье находилось на Замковой улице. Еще там был свернут рулетиком жилет шерстяной, запасной пояс, а во время дальних походов Шлома укладывал туда картофельные оладьи, печенье и бутерброды, завернутые в бумагу. Если же благодарные слушатели подносили клезмеру пива или вина, и его, веселого и пьяного, обурежала та же беспечность, какую Шлома дарил публике, тогда он твердо знал, что Зюся стережет инструмент.

Стараясь не скрипеть половицами, мальчик выбрался в сенки. На полу сушился лук золотой, шелестел шелухой, раскатываясь под ногами. Зюся положил футляр на стол и зажег свечу. Высветилась лежанка с кучкой розовощеких яблок, стертая клеенка на столе, скрипичный дерматиновый футляр.

Щелкнув замочком, он поднял крышку – на бархатной подушке лежала загадочная и грустная царица Зюсиной души, та, за которой он готов был шагать в осенние потемки, снежную пургу и весеннюю распутицу, ориентируясь по звездам и бороздкам, что оставил на песке ветер. И терпеливо, как солдат-пехотинец, переносить походные лишения.

Около скрипки дремал черноголовый смычок.

Зюся почувствовал себя Аладдином, завладевшим волшебной лампой. Откуда же берутся эти таинственные мелодии, думал он, вытаскивая из футляра сокровище Шломы. Что она прячет под своей деревянной кожей? – размышлял, освобождая ее из-под холстинки.

Он медленно поворачивал скрипку, пытаясь угадать: внутри какой-то волчок, поющая юла или машинка чудесная?

Посветил в дырочки-эфы огнем свечи – темнота и ничего не видать. Но сердце-то не обманешь! Там что-то есть! Наверняка в ней скрывается нечто, наподобие бабулиной музыкальной шкатулки. Зюсе не терпелось увидеть этот механизм, потрогать пальцами, понять, из чего он состоит. Даже дедушка Меер, безумно желавший узреть Меркаву с небесными чертогами ангелов, не был обуян такой решимостью.

В поисках чего-нибудь остренького – гвоздика или шила – мальчик выдвинул ящик стола, нащупал ножичек и попробовал поддеть им край деки, но мешал гриф – гриф-то держит. А убрать гриф не позволяли струны – все в ней было взаимосвязано, как в живом существе, невозможно развязать.

Зюся начал раскручивать колки: струны жалобно пискнули и ослабли. Одну за другой он вытаскивал за узелки – сперва тоненькую, металлическую струну, дальше вторую, потолще, а напоследок – третью и “басок”, обвитые алюминиевой и серебряной канителью.

На улице залаяла собака. Ему почудились шаги. Он вздрогнул и оглянулся. У двери, привалившись к стенке, стоял мужик, втянувши голову в плечи. Зюся не мог его толком разглядеть. Пламя свечи плясало, отбрасывая тени, фигура шевелилась. Парень чуть не умер со страху, пока сообразил, что это одежда Шломы на вешалке – сюртук, сверху шляпа, а на полу сапоги.

Зюся перевел дух, расстелил на клеенке чистое белое полотенце, каждую струну отдельно завернул в бумагу и выложил их по порядку, чтобы не забыть, какая струна за какой.

С грифом пришлось повозиться, но он справился. Впервые Зюся держал гриф, отдельный от всего остального. Он погладил прохладную гладкую поверхность, ладонью ощутив бугорки и выемки, стертые рукой Шломы за годы игры. Колки чуть скользили, для плавности вращения отец натирал их мелом или мылом. Головку грифа заключал завиток. Это чудо примостилось на полотенце возле струн.

Теперь у него в руках лежало само тельце скрипки. Легкое, как перышко, тут и ребенку ясно: столь невесомая коробочка могла быть только пустой. Но Зюся еще надеялся – вдруг это устройство, откуда льются звуки, сделано из какого-то неведомого ему воздушного материала.

– Кантик подцеплю, коробочка и откроется...

Острием ножа он поддел выступающий кант и, осторожно орудуя лезвием, отсоединил деку от боковой скрипичной дощечки – обечайки.

Внутри было пусто.

Ему открылось только пространство, обратная сторона рисунка, откуда исходили беззвучные мелодии. Оно слегка светилось и мерцало. Живой пустоте, источающей свет и энергетические токи, скрипка Шломы обязана была пеньем, чистым, как серебро, очищенным от земли в горниле, семь раз переплавленным, мягким и теплым тембром, силой и блеском.

Зюся стоял, потрясенный, испытывая одновременно радость и ужас. Радость – что разобрал, и ужас – что теперь обратно не соберет. Упаси Бог! Только бы отец не увидел, что он наделал. Он до того струсил, аж весь похолодел. К тому же он страшно устал. Поэтому все обстоятельно разложил на полотенце, сумел бы – пронумеровал, и подумал: пораньше встану, возьму клей и склею.

Утром его разбудили буйные возгласы:

– Что случилось??? Горе мне, горе, несчастье, скрипочка моя...

А случилась мелочь. В сенках на полотенце лежала разобранный до колков, до пружинки-душки, до верхнего порожка с прорезями для струн скрипица Шломы: дека отдельно,

дно корпуса и обечайки отдельно. Гриф, подгрифок, шейка и головка, расчлененная на колковую коробку и завиток.

Все в доме почувствовали, что подул недобрый ветерок, надвинулась туча, вот-вот начнется буря и разразится беда, спаси господи и помилуй. Шлома, бледный, с потемневшими глазами, метался по дому, заламывая руки. Рахиль, как могла, пыталась его урезонить. Меер молился, беззвучно шевеля губами. “Ох-ох-ох, грехи наши тяжкие...” – шептала за занавеской Хая Ароновна. Дети притихли, накрывшись с головой одеялом.

– Кто это сделал??? – вскричал бедный Шлома. – Где он, злой вандал, подайте сюда этого дикаря, я вытряхну из него душу!!!

Зюся сжался в комочек и заскулил, уткнувшись в подушку.

– Ты??? – обескураженно воскликнул Шлома. – Ты??? Мой возлюбленный Зюся? Мой неутомимый и верный оруженосец??? Зарезал! Без ножа зарезал!.. – он обхватил голову руками и заплакал.

Мне бы, дураку набитому, кинуться к Шломе, утешить его, повиниться, – говорил Зюся тройку десятков лет спустя своей благоверной Доре, – но прямо ком застрял в горле, ноги были ватные, поэтому я просто вылез из-под одеяла, в одних трусах, босой, худой, фалалей простодырый, и дрожу – как осенний лист на ветру.

– Зачем? – стонал Шлома. – Ты можешь мне объяснить? Зачем?

– Хотел посмотреть, что у нее внутри, – чуть слышно лепетал Зюся. – Откуда берутся все эти звуки... Подумал, открою и увижу механизм с дудочкой и колокольчиками...

– Какой же ты болван, Зюся, – проговорил Шлома изумленно. – Ты разве не видел? Это поют ангелы небесные!

– Боже милосердный, мальчик хотел как лучше, откуда ему было знать, что получится вагон неприятностей? – проговорил благочестивый Меер, слезая с печки.

Кто может описать смирение, кротость и мягкосердечие, а также усердие в молитвах, которые были присущи этому святому старцу с длинной белой бородой, отроду не стриженной? Каждый день зимой и летом, ни свет ни заря он шел в синагогу помянуть непременной молитвой покойных родственников. Меер приходил туда три раза в день – утром, днем и вечером – молиться, изучать толкования Торы, и называл синагогу *штибл*, что на идише означает “домик”.

– Пойду в свой *штибл*, – он говорил, – *lemen a blat Gemore*.

Именно *lemen* обычно употреблял старик: “изучать”, говорил он, а не “читать”!

– Ниспошли, Господи, Свет Своего Лика на нас, – ободрял и увещевал Меер зятя, собираясь и одеваясь, – не погружайтесь в пучину отчаяния, дети мои, это не самое непоправимое, что может послать нам наш Господь...

– Я склею ее обратно, – запричитал Зюся. – Я все там запомнил, что и куда, бабушка еще не вернется из синагоги, как она будет точно такая, какая была. Дайте мне клей, дайте клей, мама, клей!!!

Рахиль сидела, положив одну руку на стол, другую себе на живот, голову ее венчала прическа, украшенная заколкой, и когда Зюся вспоминал ее, а он частенько ее потом вспоминал, и она нередко снилась ему ночами – вот именно такой, сидящей неподвижно, глядящей на них с отцом глубоко проникающим взглядом.

– Ничего не выйдет, сынок, – сказал Шлома, утирая слезы. – Пойдем к мастеру, если Джованни Феррони не спасет мою скрипку, мы пропали.

Словно величайшую драгоценность, каждый фрагментик, каждую частицу своего поверженного инструмента Шлома обмотал мягкой ветошью, все это они с Зюсей аккуратно уложили в футляр и отправились к Ване – так звали в Витебске обрусевшего итальянца, скрипичного мастера Джованни.

Допустим, был конец сентября, вдоль Богадельной улицы через Смоленскую торговую площадь к левобережью Двины шагали смурной клезмер в длинном черном пальто с поднятым воротником и в шляпе, надвинутой на глаза, и его горемычный сын, жертва собственной любознательности.

Феррони обитал в доме купца Моисея Деревянникова, крещеного еврея, сам купец давно почил в бозе, а его сыновья потихоньку транжирили купеческое богатство, нажитое на бакалейных товарах.

Во двор можно было въехать на тройке с бубенцами, такой он был необъятный, но заваленный полусгнившими бревнами – Деревянников собирался надстроить третий этаж и сделать открытую веранду с баясинами. По вечерам он мечтал на веранде пить чай с пирожными и смотреть на солнце, погружающее свои лучи в теплые воды реки Хесин, так древние называли Западную Двину. Моисей во всем норовил подражать древним, поэтому никогда не называл ее как нормальные люди, а только “Хесин” и “Хесин”. Откуда он это взял? Даже при смерти, лежа на огромном продавленном диване (“на нем я родился – на нем и умру”), Деревянников произнес, окинув последним весьма недоверчивым взглядом троих сыновей, известных всему Витебску повес и кутил:

– Положите меня на голубую лодку и отпустите по реке Хесин...

Не суждено ему было уплыть на лодке в Литву и дальше в Балтийское море. Сочтя волю отца чудачеством, братья похоронили его на окраине Витебска, на Старосеменовском кладбище – как “выкреста”, по православному обряду. Бакалейное дело купца Деревянникова они развеяли по ветру. Чтобы не обнищать, сдавали по частям двухэтажный каменный дом с баясинами студентам и приезжим, а флигель продали мастерскому Феррони...

Как мне отыскать золотую середину между растянутостью романа и краткостью пословицы? Казалось бы – чего проще? Вспыхивают очертания героя с непременным указанием на местожительство, далее перечисляются его свойства и свершения. Следом то, что Аристотель называл “перипетиями” странных персонажей, свидетельствами удивительных деяний, яркими высказываниями, высеченными на мраморе или лучше – на граните. Тут же – эпизоды, извлеченные из истории вечной борьбы между гением и его близкими, рождающие – вопреки всему! – веру в триумф духа над косными обстоятельствами жизни. Глядь, город уже наполнен призраками, и нету никаких опознавательных примет – призраки ли материализуются, или ты сам уже призрак, бредущий по мосту через забвение?

Господин Феррони был человек необщительный, хотя итальянец. Как он попал в Витебск, никто не знал, но поговаривали, не от хорошей жизни Джованни оказался в нашем городке, где если и проживали иностранцы – все больше поляки да немцы. Известно, что сошел в один из солнечных дней лета молодой курчавый Джованни с поезда “Одесса – Динабург” попить чаю на вокзале, да так и остался здесь на всю жизнь.

Поначалу работал в мастерской краснодеревщика Попова, и сразу не простым столяром, а мастером маркетри – вырезал узоры из разных пород дерева и склеивал их в мозаики. А через несколько лет ушел от своего благодетеля, открыл собственную мастерскую, стал изготавливать скрипки. И первая же скрипка вышла у него до того хороша, что Ахарон Моше Холоденко из Бердичева, по прозвищу Пидоцур, купил ее у него за пару монет (“А что вы хотели, – говорил потом Моше в трактире за кружкой пива, – чтобы сам Пидоцур покупал у залетного птенчика его первую скрипку задорого?”). Но какой это был матракаж для Феррони! Заказы пошли, и не только от местных музыкантов, а со всей губернии.

Шлома благоговел перед его мастерством, считал, что в руках Джованни оживают кусочки дерева и начинают самостоятельно петь, только натяни жильные струны и закрути правильно колки.

Он тихо постучал, и дверь отворилась сама по себе.

Мастер Джованни сидел за огромным столом – выписывал циркулем дуги и окружности. Шломе видна была лишь его горбатая спина, длинные спутанные волосы, спадающие на плечи, и вытертые до блеска локти коричневого сюртука. Комната, уставленная досками и брусками, густо пропахла древесиной, сосной и смолой. На стенках покачивались от сквозняка подвешенные к потолку деки, шейки и грифы.

Не оборачиваясь, Джованни произнес:

– Здравствуй, Шлома. Что, скрипку принес? Не случилась ли с ней неприятность?

Как он узнал, кто к нему пришел? И зачем? Видимо, незримые нити связывают скрипку с мастером, пускай даже сделанную далеко отсюда, кем-то, кого и на свете давно уж нет.

Джованни поднялся им навстречу, открыл футляр и ахнул.

– Это еще что? Последний день Помпеи? – совсем не музыкальными руками – толстыми пальцами, заостренными у кончиков, с коричневыми от морилки ногтями – он осторожно вынимал каждую деталь скрипки, оглядывая со всех сторон.

– Мой сын, господин Феррони, – проговорил Шлома, – это сатана, а не ребенок, вздумал заглянуть в ее утробу, посмотреть, откуда берутся песни.

Печальный, как Лот в Содоме, как самурай, у которого от меча остались лишь ножны, стоял Шлома Блюмкин перед мастером, ожидая приговора. Из-за спины отца выглядывала постная физиономия Зюси.

Джованни пристально посмотрел на мальчика, и в его черных глазах зажегся огонек.

– Значит, ты решил узнать, откуда исходит музыка, паршивец? Quello artigiano! – воскликнул он, смеясь. – Как говорили древние: “Felix qui potuit rerum cognoscere causas” – счастлив тот, кто познал причины вещей! Не тужите, бен Шлома. Я соберу вашу скрипочку. Это будет нетрудно сделать. Взгляните, ваш сын не испортил ни одной детали! Чтобы столь ювелирно разобрать инструмент, да еще при лунном свете, – *belle, bravissimo!* Поверьте, маэстро, с божьего изволения она запоет как прежде. А ты, малыш, – приходи ко мне завтра, будем вместе над ней колдовать, погляжу, на что ты способен...

Так Зюся стал учеником скрипичных дел мастера Джованни Феррони, или дяди Вани. Сразу после занятий в школе он прибегал во двор купца Деревянникова, толкал дверь флигеля и оказывался в обители горбуна-чародея, склоненного над скрипкой, иногда над альтом, реже – над виолончелью. То ли алхимик в поисках пилюли бессмертия, то ли сапожник в фартуке и очках, целыми днями Феррони точил и резал дерево, слушал, как оно звучит под смычком и под ударом обтянутого кожей молоточка, что-то клеил, выдалбливал, выскабливал, выстругивал. А Зюсик мыл полы, собирал в кучу разбросанные там и сям рабочие инструменты: стамески круглые и плоские, такие же рубанки, разнокалиберные щупы и цикли, начищал верстак, пилил еловые чурбачки.

Двигаться приходилось осторожно, не приведи бог раскокошить какой-нибудь гипсовый слепок виолончельной деки или головки грифа, или на полках стеллажей нечаянно задеть локтем округлые бутылки, наполненные вязкими лаками.

Секрет их приготовления Феррони скрывал. Только для Зюси выуживал он из заветного ящика баночки с заморскими семенами и травами. В одной лежали пестики шафрана, в другой – высушенные кошенили.

– Если их растолочь, – говорил Джованни, – получится порошок багряного цвета. А это корень марены для золотисто-красных тонов. Отцу моему, Ипполиту Феррони, и деду, Марко Феррони, корень марены купцы кораблем доставляли из Мексики. “Ubi sunt, qui ante

nos in mundo fuere?” – где те, которые до нас жили на свете? – вздыхал он. – Вечный покой даруй им, Господи, и вечный свет пусть светит им.

Под окном у него росли четыре вишни, вот они вдвоем выйдут с банкой и собирают с вишневых стволов смолу – опять-таки весьма полезную для Ваниных самодельных лаков. Или он посылал Зюсю вдоль запруд реки нарвать ему хвоща – “лошадиного хвоста”, которым полировал дерево. (Никогда наждак, боже упаси!)

Вместе они бродили по дворам; стоило им услышать, где-то рушится дом, – скорей туда! Все свои заработки Ваня пускал на покупку развалившейся мебели, старых дверей и ворот, высохших стропил под крышей.

Самые отборные досточки и брусочки погружал в первую попавшуюся колымагу, сажал туда Зюсю, телега, поскрипывая, катилась, буксуя, по слоистому песчанику, извозчик сопит и погоняет лошадь: “Но! Но!”, а Джованни примостится над колесом, подскакивает на ухабах и рассуждает, как он выражался, обо всех вещах, доступных познанию, и о некоторых других...

– Правильная скрипка, *mia artigiano*, требует дерева, по крайней мере, сорокалетней выдержки, – он любовно перебирал в руках бесценную добычу, доставшуюся им нашармачка. – Елка для верхней крышки, клен – для нижней. Клен снизу лучше всего отражает звук. Ива с тополем тоже голосистые. Но клен все же предпочтительней.

Зюсик:

– Да, дядя Ваня, да! – кивает головой.

Какое ж удовольствие проехаться вдоль речки с камышами, кладбищенской оградой, мимо заборов, лавок на базарной площади, церкви, мельницы и синагоги, этих незамысловатых и вечных строений, их еще на своих фресках изображал земляк Вани – Джотто.

– Важна каждая мелочь: как ты отпилил чурбачок: прямо или закосил? – с азов – *ab incunabulis* – учил Джованни мальчика своему чародейскому ремеслу. – Ширину годовых колец лучше выбрать не большую и не маленькую, но среднюю. О многом расскажут тебе очертания скрипки. В линии Страдивариуса (этим своим Страдивариусом дядя Ваня Зюсе уши прожужжал!) чувствуется художник Рембрандт, зато инструменты Гварнери как будто бы сделаны неврастеником, почти сумасшедшим. Линия напряженная, страстная, скрипка у него страшная, но звук!

Грохот деревянных тележных колес по бревенчатому мостку заглушил наставления, но вскоре Зюсик вновь обрел драгоценную возможность черпать из этого бездонного колодца.

– ...и таких мелочей – тысячи, – вдохновенно продолжал Феррони, хотя из него душу вытряхнуло на этом чертовом мостке. – Взять хотя бы нашего толстозадого буцефала! – Феррони потянулся к жидкому пегому хвосту с оголенной репицею старого мерина, шагавшего на негнущихся ногах, раскачивая боками, перед повозкой. – *De facto*: хвост и хвост, а ведь не всякий конский волос пойдет на смычок, но лишь упругий, крепкий и певучий. *Vis vitalis*, сынок, жизненная сила, которая всегда в движении, – вот что служило материалом для скрипичных патриархов...

Вдоль облупившейся дверной доски, вытянув рожки и оставляя влажный серебристый след, ползла виноградная улитка с пятнистой оливковой раковинкой, закрученной спиралью.

– Вглядишься-ка в ее завиток, – Феррони осторожно взял улитку и пересадил ее на ладонь Зюсе. – Улиток много, а такой завитушки нигде больше не найти! Вот и на головке грифа завитушка – автограф мастера. Какая у него жизнь – такой и завиток...

Сколько лет прошло, а этот сумрачный глуховатый голос звучит и звучит в Зюсиных ушах. Зюся охотно вступает в разговор, что-то спрашивает, советуется, получает консультации.

– С кем ты там разговариваешь? – удивляется Дора.

– С дядей Ваней, – отвечает Зюся.

– Его давно нет на свете, – обижается Дора, – а я – вот она – живая и нежная, но тебе дороже он, а не я!

Зюся с ней не спорит, голову опустил и скребет арку деки, памятуя завет Феррони:

– Жизнь музыканта и судьба мастера, Зюся... да что там! Сама гармония Вселенной зависит от того, как ты выдолбишь высоту свода!

Нет уже дедушки Меера, душа его успокоилась накануне праздника Йом Кипур в тот миг, когда он молился за своих детей, чтобы все они были чисты перед Богом и людьми. Отдыхает после долгих трудов Рахиль. Рано, до обидного рано покинул этот мир клезмер Шлома, огненной кометой пронесшийся над Витебском и его окрестностями.

Сильно обветшали те, кто веселился и плясал под его цыганскую скрипку, в одну из осенних звездных ночей разобранную Зюсей на мельчайшие подробности; скрипку, быть может, не простых, а королевских кровей, к сердцу которой сам Джованни Феррони, прозревший мировращение, подобное сновидению, наваждению и прочее, как ни бился, как ни ворожил, как ни склеивал деки с обещаечками, ни сочленял гриф из красного палисандра с эбеновым подгрифком, шейкой и завитком, как он ни тянул струны к колкам, – не смог подобрать ключа.

С горечью я отмечаю сей факт, ибо моей палитре куда ближе радужные тона, и если бы я тут что-то сочиняла, я бы немедленно возвестила о том, что Зюся оказался свидетелем чуда: на его глазах скрипка Шломы воскресла и заиграла лучше прежнего, но – увы.

Не то чтобы Феррони напортачил (в Витебске, если напортачат, сделают все возможное, чтоб никто не заметил). За полтора месяца он привел инструмент в безупречное состояние. Было дело, он отремонтировал скрипку Страдивари! По чертежам старинной книги воссоздал виоло де бончо 1636 года Николо Амати. Чтобы клезмер Блюмкин вновь обрел кормилицу, Ваня в ход пустил весь наличный инструментарий. Клей, которым он склеивал скрипку Шломы, был настолько хорош – им Феррони приклеил себе передний зуб и этим зубом обгладывал до конца своих дней вареные свиные колени!

Ab imo pectore, из самой глубины души – все было выверено и точно, звук разборчивый, ясный, отчетливый, внятный. Только вот беда, Феррони слышал эту скрипку, когда она и впрямь служила обителью песнопений, он помнил ее силу, теплоту и блеск, энергетические токи, ветер и волшебные пространства. И, замороженный памятованием этого предвечного света, звука, бывшего еще до начала времен, дядя Ваня – хоть тресни! – никак не мог от нее добиться соединения с небесными сферами. Таинственная трепещущая точка – *punctum saliens* – ускользала от него, скрипка Шломы не соглашалась петь по-прежнему.

– *Caramba!* – ворчал Феррони, сидя на треногом кресле из карельской березы с драгой обшивкой, в своем допотопном плюшевом сюртуке. – Легче выстрогать дюжину новых скрипок, чем собрать одну эту.

– Значит, надежды нет? – спросил Шлома, явившись наконец за скрипкой.

– Могу вам помочь только вздохом, – сумрачно отозвался Феррони. – Пес ее знает, бен Шлома. Это или чума, или Божий перст.

А то Шлома сам не знал, у него была бешеная интуиция.

– Будь что будет, Джованни. Я привык водить смычком, мне трудно остановиться. А пропадать – так с музыкой. – Он забрал скрипку, хотел расплатиться за работу, но старик отвел его руку.

– Я сделал все, что мог, и пусть кто-то сделает лучше; но в наших руках лишь оболочка ангела. То недолет, то перелет, бен Шлома. Попробуйте облегчить звук, он станет полнее и опрятнее. Ведь вы такой виртуоз. Да будет с вами благословение божие.

Как они возвращались домой, Зюся помнил смутно. Ноябрь. Сырой ветер сметал с тополей и кленов последние листочки. Отец быстро шел по улице, не оборачиваясь. Зюся

едва за ним поспевал. Пустынно, только коптят фонари да мерзнут бродяги. Издалека, со стороны базарной площади доносилась музыка, в Городском саду – гулянье. Словом, в памяти Зюси остался лишь размытый силуэт с футляром в руке.

– Ну вот, я же говорил, что все обойдется, – обрадовался дедушка Меер, когда они явились с целенькой скрипкой. – Скажем: *зол зайт мит мазл!* Чтобы так было и дальше! Будем здоровы!

Рахиль приготовила фаршированную рыбу, до того вкусную, даже Хая Ароновна осталась довольна, хотя бабуля всегда утверждала, что два блюда на свете считаются прямо-таки священными, – фаршированная рыба и печеночный паштет. Оба должны быть приготовлены или очень хорошо, или их вообще не стоит готовить, ибо это богохульство.

К тому же работка для Шломы наклюнулась – пока его не было, забежал на огонек Берка Фрадкин, управляющий с табачно-махорочной фабрики, и сообщил, что Роза, дочь его младшего брата в деревне Луцыха, выходит замуж. Вот они просят маэстро Блюмкина оказать им честь поиграть гостям на скрипочке.

– Так тому и быть, – ответил Шлома, с виду почти беспечно.

А что оставалось делать? Взял скрипку, собрался и поехал, правда, на сей раз один. Зюсю, как я уже говорила, отдали в хедер, откуда он каждый день сбегал в мастерскую к Феррони. Поэтому не знаю, играл ли Шлома на свадьбе под шквал аплодисментов, не жалея сил, достиг ли вершин своего прежнего огня, кричали гости: “Вальс!”, “Падекатр!” или “Фрейлахс!”... Заливался ли, взмахнув смычком, наш импровизатор столь грустной мелодией, что народ и дохнуть боялся, застыв с тарелками в руках, наполнил ли сердца божественными звуками, добрался ли до самозабвенности бытия?

Или в Луцыхе Блюмкина, чародея и самородка, с его побывавшей в переделке скрипкой слушали вполуха, не найдя в ней прежнего богатства звуковых стихий. Витебскую публику на мякине не проведешь, это же такие веси и города – в них всегда звучит музыка, там бродили шарманщики с песнями Россини и Малера...

А то и, не приведи господь, освистали, да еще намяли бока, на свадьбе клезмеру нередко приходится иметь дело с грубыми людьми – мастеровыми и крестьянами, которые не питают ни капли уважения к музыканту.

Впрочем, наверняка гости пели-плясали, никто и в ус не дул, что некоторые пассажи оказались немного смазанными да слегка грешит интонация, кроме самого скрипача. На “бис” он обычно исполнял “Пивную симфонию”, где имитировал звуки льющегося в кружку пива. Чувствительное ухо могло даже распознать сорт пива (из-за чего клезмерские авторитеты поговаривали, что Блюмкин лучше разбирается в пиве, чем в музыке, из зависти, конечно). После чего угощался на славу, поспит часика четыре, и на рассвете – в обратный путь.

А тут вышел за калитку посреди ночи и был таков. Ясно, что он заблудился, вряд ли Шломе была известна дорога к Витебску; кто бродит по ночной степи в осенние меркульевы дни, разве умалишенный: край этот не райские кущи, и поездка туда не увеселительная прогулка. Возможно, случились ночные заморозки, на другой день до полудня лежал на земле рыхлый лед. Блюмкин долго шагал по холмам и равнинам, пескам и бороздам в лиловую даль. А когда устал, прилег на ворох соломы посреди сжатой полосы, под голову положил футляр со скрипкой и провалился в какую-то звенящую черную бездну. Да в утробе скрипки гудел огонь.

Чувствует, кто-то трясет его за плечо.

Шлома открыл глаза – увидел комья земли с прожилками снега, багровое солнце, ворон на меже и белобрысого паренька.

– Ты что разлегся? Волки стаями рыщут! Простынешь, дядька, совсем заиндевел! – Мальчик усадил Шлому в свою колымагу, худо-бедно она поехала по бездорожью, качаясь, словно лодка по волнам, продвигаясь к развязке нашего рассказа.

Мелькали бурьян, булыжник, снопы соломы и травы, дождь накрапывал, ветер так и норовил сорвать шляпу, Шлома прижимал к себе скрипку, придерживал шляпу, все, казалось ему, озарено сверкающим светом, и старинная песенка вертелась в голове:

Цигель цигель ай-лю-лю...

Козочка, торгующая изюмом и миндалем...

Hop, hop, ot azoy,

Est di tsig fun dakh dem shtroy...

Приехал домой и слег, думали – бронхит, оказалось воспаление легких.

“...На пятнадцатом году моей жизни, в год, когда разгоралась первая русская революция, втиснули меня в большую фабрику чая Губкина – Кузнецова у Рогожской заставы, где работало 800 несознательных человек, грохотали железом машины и носилась по воздуху едкая чайная пыль.

Жалованья мне положили 10 рублей.

Чаеразвеска представляла собою огромное квадратное трехэтажное здание. На самый верх поступал в мешках чай, его сортировали, и по трубам сыпался он на второй этаж, где 500 человек завертывали его в бумагу – сперва осыпальщик, потом вертельщик, после – свинцовщик, далее этикетчик, бандерольщик, штемпелевщик и укладчик. 50 000 фунтов – полмиллиона пачек в день – тысяча пятидесятифунтовых ящиков. А восемь рослых рабочих наваливали ящики в тележки и спускали в цокольный этаж, их укладывали на воз и отправляли на железную дорогу.

Я заворачивал чайные листочки в цинковую бумагу, цинк разъедал пальцы, и все там чахли молодыми, в развеске Губкина – Кузнецова, наглотавшись чайной пыли.

Но я и не думал чахнуть.

Меня воспитала улица и неудержимо влекли к себе пьянство, гульба и азартные игры. Каждое второе слово у меня было «задница» или «дерьмо». И все же я верил, что разум мой выберется из дебрей заблуждения: читал с целью самообразования «Эрфуртскую программу» Каутского, «Хитрую механику», «Царь-голод», «Ткачей» Гауптмана, сочинения Писарева, Чернышевского, посещал вечерние курсы и собрания в чайной около Полуяр-славских бань в Сыромятниках, а также массовки на Калитниковском кладбище, где ораторы мрачными красками рисовали положение рабочих под игом самодержавия.

После собрания пели песни.

– Давай, Макарка, «Машинушку»! – говорил пропагандист нашего района Рачковский по кличке Хабибулла.

Я запевал «Машинушку».

Мне, накаленному, заполошному, всегда трудно бывало сдерживать себя: или на коне – или в канаве, такой я человек! Иной раз подумаешь осадить себя, охолонуть, а самого коло-тило, всего разжигало изнутри! Вот и Россию так же лихоманило, только масштабы дру-гие. Трясло и молотило ее по-всякому...” – писал рабочий Макар Стожаров в главной книге своей жизни “Мы – новый мир!”, опубликованной в кооперативном издательстве “Москов-ской рабочий” в 1922 году.

Холодным декабрьским днем душа клезмера Блюмкина оставила земные пределы и полетела в Девахан, утрачивая всякое воспоминание о бедствиях земной жизни.

Зюся, укутанный в платок Хаи Ароновны, завязки под мышками, совсем не плакал, а только повторял: мама, я виноват, я, я. А мама отвечала: что ты, Зюселе, при чем тут ты, папа заболел, потому что простудился.

И правда, наше рождение в этом мире – мистерия гораздо более глубокая, чем мы думаем, все мы вписаны в эту драму в соответствии с замыслом Предвечного. Однако с того момента Зюся жил одной мечтой – стать Мастером и соорудить точно такую скрипку, какая была у Шломы, чтобы, когда она заиграла, зрители замерли от восторга.

За ледяным бельмом окна мелькали тени московских прохожих, слышались смех, ругань кучера, звон церковного колокола.

Замерзшими пальцами Макар заворачивал чайную труху в серебряные бумажки. И хотя в “личном деле” за номером 641, которое Стеша без малого сотню лет хранила в сундуке, на вопрос “Если вы неверующий, то с какого возраста?” старательным почерком Макара написано: “с 12 лет”, – несколько серебряных бумажек все-таки припрятал себе в карман, чтобы сделать рождественскую звездочку и принести домой. Повесит он эту звездочку на окно, и будет свет ее означать свет рождения младенца Революции. О ней, как о светлом празднике, мечтал Макар Стожаров: в новом 1905 году будет все по-новому!

После работы Макар ходил на лекции в рабочем собрании, в Лигу самообразования, возникшую, правда, по инициативе кадетов, слушал умных людей о жизни звезд и Вселенной, о космосе, о вечности, о возможности достижения других планет, о поисках Трои и земли Санникова. Учился уму-разуму. Вход стоил 5 копеек, полицией разрешено. Все официально, на лекции присутствовал пристав, косился на рабочих из-под фуражки, чертил что-то в свою серую тетрадку.

У Макара в кармане тужурки тоже припасена тетрадка, в нее он записывал разные мысли, которые бродили в его голове. Были в ней и “вирши”, или “поэмки”, так называл он свое рифмованное творчество, по весне его обуяла мания стихосложения. Если карты выпадут удачно, спросит докладчика и прочитает свое последнее!

А тут еще группа ленинцев, частью из партийцев, частью из сочувствующих, решила использовать собрание в целях легального распространения боевого материалистического мировоззрения и провести в лекторы своих кандидатов. Так что в начале июня активисты РСДРП снеслись с канцелярией градоначальника и получили разрешение огласить лекцию “Жизнь пчел, мелких грызунов и других животных”.

Мало ли, думал Макар, вдруг докладчику надо будет отдохнуть от чрезмерного умственного напряжения. Как не вылупиться в такой ситуации, не выскочить на сцену и не зачитать пару катренов!

В назначенный день помещение театра при фабрике Алексеева заполнили слушатели, рабочие валом валили со всей Москвы в сопровождении жен, детей, братьев, сватьев, девей, шуринов, снох, зятьев и прочей родни. По воспоминаниям уполномоченного райкома партии товарища Рубина, руководителям Лиги такая инициатива снизу была как серпом по яйцам, они бегали из угла в угол и встревоженно шушукались. А некоторые в пух и прах разодетые и надушенные “гражданки”, едко подметил товарищ Рубин, будучи не в силах вынести спертой атмосферы сокрушительного замеса гари, сала, нефти, паленого, пивного, селедочного, сенного, табачного, лукового и черт знает еще какого, которым и впрямь разило от нахлынувших гостей, даже вскочили и, смущенные, покинули собрание.

В зале царило приподнятое настроение. Все ждали докладчика – Василия Шумкина. Макар не раз встречал его на Золотом Рожке, в чайной Горяченкова. На самом деле этот “зоолог” был пролетарский большевик, старый подпольщик по кличке Фу-Фу. Как часто, думая

о чем-то своем, он повторял: “Фу-фу, все кончится печально...” Эта поговорка сохранилась у него с времен ссылки, за что его и прозвали Фу-Фу. Ни жены, ни подруги, ни постоянного угла, вечно полуголодный, на грани провала, он положительно слился с партийной революционной работой. При этом в Сибири охотники подарили Василию двух медвежат. Сколько шума и тревог натворили они втроем в Москве! (Через много лет посетители московского зоопарка бывали свидетелями бурных встреч двух матерых косматых медведей с пожилым коренастым мужичком, бородатым и в кепке.)

Василий Григорьевич храбро взошел на дощатый помост, откашлялся и произнес в наступившей тишине:

– Если мы заглянем в улей... – дальше он уткнулся глазами в пол и начал переминаться с ноги на ногу.

Все уставились на его сапоги – хромовые с “гамбургскими передами”, явно кем-то одолженные Фу-Фу для доклада вместе с зефировой полосатой рубашкой и галстуком-рега-той поверх отложного воротника.

– Если мы заглянем в улей... – повторил он.

– То нашему докладчику всю рожу разукрасят, – крикнул кто-то из оппозиции.

Часть зала засмеялась, остальные зашикали.

– ...то обнаружим, – повел-таки свой рассказ Василий, – что улей состоит из царицы, из тысячи работниц и нескольких сотен трутней...

“Нужно было присутствовать на этой лекции, – писал в своей книге Макар, – чтобы видеть, с каким подъемом читал ее товарищ Шумкин и с каким напряженным вниманием слушали его рабочие. Когда Василий Григорьевич растолковывал присутствующим о переселении мышей, то не иначе как «стройными колоннами, организованной массой, они передвигались, не страшась коварных классовых врагов». Если затрагивал устройство пчелиных сот, употреблял такие образные сравнения: «Пчелы – это пролетариат, идущий сомкнутыми рядами на борьбу с врагом под лозунгом: все за одного и один за всех!»”.

– А толстые и прожорливые трутни, – рассуждал он, – это эксплуататоры-капиталисты, которые живут на всем готовом, праздные бездельники, грабители и паразиты!

Василий Григорьевич до того преувеличенно восславлял трудовую пчелу и костерил праздных трутней, отыскивая для них какие-то особенно уничижительные эпитеты, что представ несколько раз вскакивал со стула и предупреждал: если докладчик и дальше собирается действовать подобным образом, лекцию придется прекратить.

– Я только хотел заметить, господин пристав, – дружелюбно отозвался Шумкин, – что близится роковой час, когда, фу-фу, все кончится печально, лопнет пчелиное терпение, и тысячи жал поднимутся на притеснителей, чтобы свести счеты с этими сукиными детьми. А добиться победы трудовая пчела сможет лишь тогда, когда весь рой тесно сплотится вокруг одной партии...

– ...РСДРП! – не выдержал пуговичник Коля Балакирев.

– Это провокация! – загомонили отсталые элементы. – Кончай пропаганду!

Рабочие просили продолжать, чувствуя в словах Фу-Фу горькую неприкрытую правду. Но Шумкин насупился, свел свои медвежьи брови и заявил, что лектор не прибор, который рубильником повернул, он и начал говорить, а здесь есть некоторые люди, умышленно нарушающие работу мысли, так что лекция окончена.

Народ не захотел сразу разойтись, стали выяснять у Василия, где можно послушать его реляции о насекомых, о рабочих пчелах и борьбе с трутнями.

Тут выскочил Макар и попросил Шумкина разрешить ему зачитать стих собственного изготовления, крик, можно сказать, измученной души – в порядке дописка к докладу?

– А почему нет, – ухмыльнулся в бороду Василий, – читай, раз грамотный, небось, про любовь? Дадим молодежи дорогу? – спросил у пристава Шумкин, но тот сделал вид, что ему все равно, так как он здесь по другому делу и лирикой не интересуется.

Макар вытащил тетрадку, свернутую в трубку, сжал ее в кулаке и начал:

Я родился на задворках
В земляной сырой каморке.
Мой отец рабочий был,
Он на фабрике служил.

– Ишь ты, каков! Кто таков? – пробормотал Шумкин, разглядывая взбудораженного Макара с маленьким ядерным реактором внутри.

Возрастал я без надзора,
Предоставлен сам себе.
И собак дворняжек свора
Были братья голытьбе.

Во втором ряду засмеялся один рабочий, ему, видимо, была хорошо знакома эта компания. А Макар знай себе набирал обороты:

Помню гулкий и унылый
Колокольный звон.
Один царь ушел в могилу,
Другой занял трон.

Давку на Ходынском поле,
Трупы мертвецов,
Ледяное горя море
Дедов и отцов.

Началась война с японцем,
Мы сушили якоря.
Дым поднялся выше солнца
Над кормою корабля.

В ушах у него гудело, как во время урагана, он сменил ритм на всем скаку и возвысил слог:

Но японцы – в пяле и мяле
Не сдавались нам, самураи,
Как пошли наши суда топить,
Русский флот удалось им разбить.

Порт-Артур, Мукден и Стессель...
И “Кореец”, и “Варяг”.
Сколько спето было песен,
Сколько вытерпел моряк!

В гробовой тишине, в бездне пламенного света Макар поднял руку с тетрадкой и прижал ее к груди, лицо его побелело, он стал похож на статую Цицерона на площади Юстиции в Риме.

В девятьсот пятом году,
В январе, девятого
Расстреляла мирных граждан
Солдатня проклятая.

Серый пристав вскочил со стула и рванулся к помосту. Но зрители на первых рядах не раздвинулись, наоборот, заслонили спинами проход. Атмосфера до того накалилась, вот-вот взорвется. А Макар поддавал пару:

Царь рабочих угостил
Ружьями и пушками.
Снег январский окропил
Кровью безоружных.

Хитрый Шумкин, видя, что дело принимает непростой оборот, прыгнул со сцены (“я тут ни при чем!”) и растворился среди рабочих, внимавших пииту. А грозный пристав, потерявши дар речи от наглости молодого горлодера, кряхтя, взобрался на помост, выхватил у Макара тетрадку, сцапал его за вихор и потащил вон.

Но все-таки зрители услышали последний, заключительный “катрен” Стожарова:

Обретай в борьбе
Ты свои права
И свергай скорей
Кровавого царя!

Его выступление имело ошеломительный успех, громоподобный. Под свист, аплодисменты и радостные вопли пристав поверг Макара на пол и стал бить по голове его же дерматиновой тетрадкой, приговаривая: ах ты, шельма, ... твою мать, ты это что тут написал, засранец эдакий!

– Ну просто Петрушка и городской, ой, пропала его головушка с колпачком и кисточкой! Конец представления, фу-фу, все кончится печально... – сказал Шумкин, резюмируя происходящее.

Видя смешное свое положение, пристав бросил тетрадку, отпустил Макара, плюнул в сердцах и сошел в зал.

Стожаров встал, отряхнул пиджачишко и поклонился зрителям.

“Вот и вылупился, – подумал он, – что теперь будет?”

Зюся рисовал скрипку с утра до вечера, в разных ракурсах, целиком и фрагментами, больше тысячи раз он изобразил ее, сперва копируя чертежи из старинных книг Джованни Феррони, а когда старика потянуло домой, в Италию, к могилам предков, и он исчез в полосе неразличимости, то – плотницким карандашом вычерчивал на деревяшке Зюся до боли знакомый стан Доры, поскольку хорошо усвоил, что форма корпуса должна иметь прямые закругленные плечи, талию для улучшения резонанса и удобства игры (особенно в высоких позициях!), плавный контур бедер. И ему не нужен был циркуль, чтобы провести эти волнующие вечные линии.

– “Мой маленький Соломон плывет за несбыточной мечтой...” – пела Дора за шитьем – со своим необъятным вырезом, за которым пламенела ее пышущая плоть.

Как ей хотелось, чтобы Зюся побольше бросал в ее сторону пылких взглядов. А этот сухарь, длинноногий циркуль, в заляпанном фартуке, белом колпаке, склонится над верстаком, в башке одни чертежи и расчеты – как выдолбить арку и выскоблить деки да вырезать эфы! Воздух вокруг наэлектризованный, густой, шуршат резцы и ножи, придавая верхней и нижней декам единственно возможную толщину, освобождая звук из плена темной материи.

– Чтоб инструмент у тебя зазвучал с огоньком, ядри его бабушку, – говорил Джованни, с наслаждением раскуривая трубочку, – ты должен строить его, как строят храм: фундамент, стены, своды, купола, соблюдая ту же гармонию, меру и порядок, которым повинуются все в Природе – от кристаллов до галактик. Это божественная пропорция, *mia artigiano*, мы находим ее в изгибах морской раковины, в контуре цветка, в облике жука и – да! в очертаниях человеческого тела...

Зюсик был подходящим сосудом для его учения. Кто мог подумать! Ни дедушка Меер, ни Хая Ароновна, ни клезмер Блюмкин – что этот несмышлениш станет самым желанным мастером во всей округе. После того как Феррони отбыл в Кремону, Зюсе перешли все его заказы. Музыканты в очередь к нему выстраивались. Никто из окрестных мастеров не ловил, как Зюся, искры с неба, не добивался такой певучести и гибкости, непрерывной работы обертонов, летящих октав...

А он искал ту одну, непостижимую скрипку, готов был не спать – не пить – не есть, лишь бы печенкой ощутить живой и сочный тембр, дыхание, кровообращение, иерархию голосов, дуновение ветра – больше ничего! Забросил заказы, хозяйство, меньше стал уделять внимания Голубке, своей любимице, чалой корове.

– Везде – я да я, – жаловалась певунья Дора. – Строгальщик! Вторую неделю едим рыбные галушки из мелюзги. Ухватишь ты с этой скрипкой черта за рога!

– Рад бы ухватить, – отвечал Зюся, – да руки коротки!

Он узнавал во всем ее приветный гудящий голос, богатый, сумрачный, величавый, бархатный, глуховатый – в кудахтанье, ржанье, перестуке колес... Жаворонки, соловьи, степные кузнечики и домашний сверчок, зяблики и пересмешники – все колебания мира Зюсик норовил превратить в пение своей скрипки, забыв о том, что он простой подмастерье под главным Скрипичным Мастером, под истинным Тем, кто Творец всего.

Двадцать лет Зюся корпел над ней.

Если я расскажу во всех подробностях Зюсину одиссею, вы с ума сойдете.

И что вы думаете? Он вымолил ее у Судьбы.

Небо и Земля соединились в той самой пропорции, без которой не мыслили своей жизни скрипичные патриархи Кремоны, когда чудесная скрипка возникла в его руках, как особая сфера вселенной, и Зюся услышал долю того напева, под звуки которого Бог сотворил мир. Поздним вечером его резец вывел вязью “Год 1905 Зюся...”.

Пожалуй, он ее и сам понимал не до конца. Происходили немыслимые вещи: ты только прикоснешься к струне – к одной струне! – и начиналось густое оркестровое звучание. Как будто это не один инструмент, а целый оркестр, да какой!..

“Ясной и сияющей судьбоносной осенью пятого года во всю величину встал вопрос о вооружении”, – написал в своем дневнике Макар, поднялся с деревянного стула, вышел в город и влился в толпу рабочих Губкина – Кузнецова под красным знаменем в тот самый момент, когда Мадхава и Пандава, стоя в колеснице, запряженной белыми лошадьми, вострубили в божественные раковины.

Городовые попрятались в подворотнях, обыватели старались носа не высовывать из квартир. От завода к заводу: рабочие Киббеля, Каравана, Казвинного склада, заводов Пере-

нуд, Дангауэра, фабрик Остроумова, Келлера, Чепелевецкого, Фишера, Хлебникова выходили из цехов и вставали под красное знамя. С песнями пошли снимать рабочих фабрики Катък. Вместе с ними остановили кондитерскую фабрику Жукова. Стала и фабрика Григорьева. На стеариновом заводе Свешникова началась “перестрелка” камнями: часть рабочих и служащих отказывались прекратить работу. Вмиг мостовая была разобрана, и тучи камней полетели в здание конторы, зазвенели разбитые стекла, открылись ворота, и рабочие вышли на улицу.

– Идем Гужон останавливать! Даешь стачку! Долой самодержавие! Кончай работать, гужеды! Победа или смерть!

Свист, крики, грохот вальцовок – все слилось в единый зловеющий гул. С железнодорожной насыпи полетели камни на двор завода. В ответ оттуда – гайки, куски железа. Сам Гужон затрубил в огромную раковину Паундру, призывая своих рабочих биться с бунтовщиками. На зов хозяина явились жилистые кряжистые рабочие тянульного отделения с молотами в руках.

Никита Белов из чаеразвески предводительствовал ордой повстанцев. На гребне вплывая в проломанные ворота, он воодушевлял толпу криком: “Сюда, товарищи!” Макар первым ворвался в здание завода, его там сильно помяли, вывихнули плечо и рассекли губу. Тут вырос как из-под земли Гужон с револьвером и выстрелил в Никиту Белова.

(Впоследствии при осмотре холодного тела Никиты в кармане у него оказались книжка песен “Разлука”, паспорт под номером 836 и пустой кошелек.)

Следом прогремело еще несколько выстрелов. Кто-то закричал: “Казачи едут!” Замелькали в воздухе нагайки. Все побежали врассыпную и вновь соединились на улице Пустой. Шли под развернутыми знаменами, Аким Кретов и Макар запевали, остальные подтягивали. Внезапно из-за угла на них налетели черносотенцы – только быстрые ноги спасли Макара от гибели. Но и на следующий день, и потом он был в самом водовороте беспорядков.

В Москве нет воды, хлеба, газеты не выходят, перебои с электричеством, остановились конки и трамваи. Видя подобное брожение, царь скрепя сердце согласился на все эти “кипяильники”, “умывальники”, “вентилиции”, “отмену грудных номеров”, “отмену обыска”, что там еще? “Библиотека за счет хозяина”? “Хорошее обращение”? “Восемь часов работы”? “Рубль пятьдесят – мастерскому, рубль – рабочему, полтинник – мальчику”?

Прислали из Царского Села народу, сочинили Манифест: “мертвым – свободу, живых – под арест”. Ибо уже завтра на Немецкой улице был убит революционер Николай Бауман.

В продолжение целого дня его тело несли от Технического училища до Ваганьковского кладбища. Макар лично подпирал плечом левый борт гроба Николая Баумана. Стеша сохранила фотографию траурной процессии. Он идет, голову понурил, резко очерченные скулы, щеки втянутые, сдвинутые брови, весь его облик суровый говорил о том, что он этого дела так не оставит. Тем более поздно вечером на Никитской, по пути с Ваганькова колонна рабочих, в которой дед горестно возвращался домой, была расстреляна из окон Манежа. Макар едва спасся тогда, он был молодой и проворный.

Посвяти себя земле, пока ты на земле, сердце мое, если ты хочешь достичь недостижимого человека. Положи к его ногам флоксы, сирень и ароматный цвет шиповника, которые посадила Стеша в Уваровке, в яблоневом саду на бывших грядках картошки и клубники. В мокром саду под грибным летним дождиком она гуляла босиком, и по белой траве, по утреннему инею поздней осенью гуляла босая, – она любила там жить до зимы, в нашем старом бревенчатом доме с дымящейся печью, ее выложил Ваня-печник, забиравший к себе без всякой меры детей у окрестных алкоголичек. Он терпеливо переносил страдания и лишения, кормил и растил их бесшумно и с христианским смирением. Стеша Ване споспешествовала и попустительствовала, она ценила великодушие в людях; хотя печка дымила ужасно, она

обтерпелась и обвыкла. А когда Ваня умер, не проявляя никаких признаков смерти, и лежал на кровати совсем как живой с сияющим лицом, похоронила его за свой счет, усадила могилу лиловыми сентябринами и сказала – ему – или мне?

– Умирая со смертью, ты должен жить, чтобы искать...

Прошел октябрь, ноябрь, а в декабре Стожаров дождался главного! Конференция всех заводских и фабричных организаций постановила седьмого декабря в двенадцать часов дня начать всеобщую политическую стачку и стремиться перевести ее в вооруженное восстание.

Для осуществления этой цели требовалось оружие. Московский комитет выдвинул в ряды рабочих некоего товарища Доссера, боевого организатора по кличке Леший. Это был крепко сколоченный мужик, как тот стул, с которого встал Макар, когда отправился под красным знаменем останавливать заводы. Лицо Лешего пряталось в бороде, носил он серую косоворотку, походил на крестьянина.

– Неуклюжие смит-вессоны тульской работы и “бульдоги” достать не проблема, да разве это оружие? – говорил Леший, поблескивая косым глазом сквозь чайную пыль на одной из тайных рабочих сходов. – Нам требуются винтовки, карабины, маузеры, парабеллумы, в худшем случае – браунинги и наганы.

Рабочие отдавали последние сапоги, чтобы купить браунинг.

Железнодорожники запасались маузерами, винчестерами и магазинными ружьями. Разгромили оружейный магазин Биткова на Большой Лубянке. Курские мастерские получили от Московской боевой организации три ящика карабинов и двадцать штук маузеров. Маузеры лежали в большой корзине, завернутые в масляную бумагу, рядом, как младенцы перед кормлением. От них кисло пахло железом, и это тревожило и веселило Макара.

В чаеразвеске семнадцать человек имели маузеры, остальные подпольщики держали наготове браунинги, шестизарядные “бульдоги”, некоторые приготовили “селедки” – стальные тяжелые шашки. Плешакову, десятнику курской дружины, когда он пришел по одному адресу на Садовой-Триумфальной улице, положили в руки мешок с бомбами. Он закинул его за плечи, как свеженакопанную репу, и понес по городу на свою квартиру.

Макар тогда жил в доме Кубышкина на Хиве. В сентябре четвертого года познакомился с неким Алексеем Финиковым. Вроде мелкий торгаш, держал овощную лавку. А в этой лавке можно было получать капусту, завернутую в листовку. Кочан разворачиваешь, а там: “Долой извергов и правительство продажных царедворцев и прихвостней капитала!” Или купишь морковь, стряхнешь с бумажки землю с песком и читаешь: “Товарищи! Ждите сигнала нападения на тирана!”

Последнее, что Макар получил от Финикова в декабре перед началом всеобщей стачки, – это письмо самого Ильича из Женевы боевому комитету, в него завернули померзшие клубни картошки.

“Товарищи! Пусть все вооружаются кто как может, кто револьвером, кто ножом, кто тряпкой с керосином для поджога. Проповедникам нужно давать отрядам каждому краткие и простейшие рецепты бомб, элементарнейший рассказ о всем типе работ, а затем предоставлять всю деятельность им самим.

Отряд должен тотчас же начать военное обучение на немедленных операциях, ТОТ-ЧАС ЖЕ!!! Одни предпримут убийство шпика, взрыв полицейского участка, другие – нападение на банк для конфискации средств для восстания. Не бойтесь этих пробных нападений. Они могут, конечно, выродиться в крайность, но это беда завтрашнего дня, а сегодня беда в нашей косности, в нашем доктринерстве, старческой боязни инициативы. Пусть каждый отряд сейчас учится хотя бы на избииении городских: десятки жертв окупятся с лихвой тем, что дадут сотни опытных бойцов, которые завтра поведут за собой сотни тысяч”.

И уж на что Макар Стожаров был уличный хулиган, даже он удивлялся – какой у них Ленин лихой и бедовый командир.

Вскоре о Зюсином инструменте прознали два брата-еврея Шмерл и Амихай, музыканты из Мардахова и Погорелок. Шмерл явился в пятницу вечером, принес рыбу с хреном и кринку меду.

– Вот, тебе, Зюся, золотая рыба, тебе, Дорочка, – сладкий мед. А мне, дорогой мастер, продай скорей скрипицу, что ты сделал, просто не терпится сыграть на ней псалом “На реках Вавилонских сидели мы и плакали”!

– Нет, – мотает кудлатой головой Зюся, – еще там уйма работы, нужно деку отполировать и колок переставить.

Рыжебородый Амихай предлагал свою молочную корову:

– По ведру в день, по ведру в день, ты меня послушай, Зюся, это не коровка, это молокозавод! Не то что твоя Голубка, худосочная и хромая. Прости меня, Господи! – пел Амихай, бродил, как сомнамбула, по пятам, поглядывая на шкаф, где лежала укрытая фланелью та самая скрипка, золотисто-желтая с легчайшим коричневым оттенком, про которую все уже знали, и некоторые даже слышали, как она звучит, заглядывали к Блюмкиным в окно и ждали, не коснутся ли их ушей звуки божественного инструмента.

Некий Ицик Бесфамильный из Малостраницы пришел на нее посмотреть хоть одним глазком, он не просил продать, он просто хотел покрутиться вокруг нее. Зюся снял фланель и поводил смычком по струнам, как полагается мастеру, а не музыканту. Ицик удалился в слезах, попросив дать ему рубль на извозчика, в ночь-полночь на проселочных дорогах могли повстречаться беглые солдаты и другие шевбутные людишки. Пришлось Зюсе отдать этому человеку рубль.

– Зюсик, любовь моя, счастье мое, очнись! – звала его Дора. – Только погляди на себя – как ты отощал! Сделал скрипочку, которая нас озолотит, и не хочешь с ней расстаться...

Но Зюся представить не мог, что чьи-то руки держат за горячий бок его белоствольную красавицу, терзают лошадиным волосом ее небесные струны; в общем, сидел на ней как собака на сене.

Тем временем другие дела закрутились в Витебске, не все долетало до Покровки, но сосед Хазя Шагал, селедочник, рассказал Доре о том, что народ в городе волнуется, рабочие гвоздильного завода устроили демонстрацию.

– Что за демонстрация, слово-то какое страшное? – спросила Дора.

– Вот те раз! – почесал бороду Шагал. – Разве ты не знаешь: вот-вот грянет революция? Со своими “модами Парижа” отстала от времени, не замечаешь, какие события грядут? Мой Марик бегал на завод, даже был на маевке. Темная ты женщина, Дора, маевка – это митинг, на котором говорят важные слова разные люди... – перешел на шепот Хазя. – В общем – лучше тебе не знать, что это такое, Дора, будешь спать спокойно.

Но спать спокойно на Покровке оставалось всего два дня. Да и всему Витебску.

В тот вечер солнце горело на том берегу Витьбы, горело огненно-красно, как огромное неколотое полено, в дыме кучевых облаков. И это полено падало с шипеньем в воды, будто огромная головешка, превращаясь в страшную немую рыбу голавль, предвестницу грядущей беды.

Дора шила вечернее платье для жены уездного стряпчего и, как всегда, что-то напевала, когда ей в окно постучал Филя Таранда.

– Слушай, – сказал он. – Я тут покупаю фунт крыжовника, хожу по базару и ем ягоды прямо из пакета, вдруг вижу – к нам на Покровку идут крестьяне с вилами, и городской с

ними, рожи у всех зверские, кричат: “Мы им покажем, жидам!” Беги, соседка, зови мужа, Йошка уже у меня. Быстрее, я вас спрячу.

Скоро, в одну минуту, собрали что могли, деньги, бумаги, колечки, попрятали в сумку, набросили что попало, в галошах на босу ногу, огородом побежали к Филе. И сразу через щель в сарае, где Филарет держал гончарную утварь, станок для раскатки глины, формы, кадушки, печь для обжига, гончарный круг, увидел Зюся гудящую толпу мужиков из соседних деревень, они кричали что-то остервенело, в глазах светились огромная злоба и тоска, а сами шли и шли, не разбирая дороги, прямо посередине улицы, перегородив Покровку.

Страшную колонну вел некий господин, полный, с курчавой бородой, похожий на околоточного надзирателя, в серой рубаше с косым вырезом. Он ясно и четко выкрикнул:

– Эти жида, неверные, растоптали просфиру и порезали ножом икону с Иверской Божьей Матерью в соборе, надо их за это наказать. Погромить их жидовские квартиры, маленько петушка красного подпустить под их перины.

И они двинули в сторону Зюсиного дома.

Сердце Зюсика оборвалось, перед глазами возникла его скрипка, которую он забыл впопыхах, оставил у себя в мастерской, и он упал в страхе за Иону и Дору на земляной пол сарая, обнял их за плечи.

Клубы пыли и дыма нес над крышами домов сухой горячий ветер, пропал аромат луговых трав, в душном воздухе явственно проступил запах пожара и злобы. Откуда-то издаleка донесся истошный женский крик, но сразу стих. Послышался резкий щелчок выстрела, нестройный лай очумевших собак и неожиданный гром приближающейся грозы.

Летний ливень упал на город, тяжелые капли застучали по крыше сарая, струи воды разом ударили в пыльную черную землю, разбиваясь на серые и голубые брызги. В щелочку было видно, как бежал человек по улице, не прикрывая голову, он только держал ладошку у лба, казалось, он выглядит озабоченным, а этот жест помогает ему обдумать, что же происходит в нашем мире. Из-под руки по его лицу текла розовая вода, она заливала его белую рубашку, оставляя беспорядочные красные пятна.

Это ж Эвик Нейман с соседней улицы, что с ним, как будто облился самодельным вином на свадьбе, подумал Зюся, вот неуклюжий какой. За Эвиком тяжело бежали три мужика, явно крестьянского сословия, выкрикивая матерные слова, они силились догнать его, чтобы убить, это желание было написано на их красных волосатых лицах. Один вдруг остановился с открытым бородатым ртом, не в силах продолжать погоню, качаясь черным маятником, размахнулся и бросил вслед убегающему черный топор. Орудие труда в одночасье превратилось в страшное орудие убийства, медленно совершило круг под дождем, рассекая занавесь струй, и ударило тупым концом прямо в спину беглеца. Нейман споткнулся, замер и упал навзничь в лужу посередине улицы. Зюся закрыл глаза.

Ночью, оставив Дору и мальчика у Фили, он пошел, вжавшись в серые заборы, к задним воротам своего дома. Во дворе прямо на земле лежали груды разорванных тряпок, испорченные матрасы, осколки зеркала и другие вещи, которые, видно, не понравились погромщикам и вора.

Голубку они угнали. Он слышал ее отчаянное прощальное мычание.

Все было разрушено, побито, ящики сорваны с петель, полки опустошены. В доме оба шкафа выпотрошены, белье и одежда унесены, а та, что осталась, порезана ножом. Дверки буфета вырваны, и разбиты стеклянные окошечки, которые в солнечную погоду отбрасывали радужные солнечные зайчики, они всегда радовали Дору, потому что в комнату редко заглядывало солнце, а уж если попадало – то стены, пол и потолок были разукрашены разноцветными летними пятнышками...

Этажерка опрокинута. Старинные книги лежали разорванные, как мертвые птицы, неестественно вывернув страницы. Зюся вдруг услышал стон, тихий протяжный звук, напоминающий плач раненого зайца или другого какого зверька. Он распахнул дверь своей мастерской – и даже во мраке ночи, едва рассеянной серебристыми облаками, увидел, что она разорена, осквернена. Виолончель, гитара, почти готовый альт, бесценные бруски и поленца, рисунки, чертежи и модели, его рабочие инструменты, которые Зюся собирал всю жизнь, и те, которые были когда-то подарены Джованни, и те, что сделал сам, и купленные в городе на скопленные деньги, – все было уничтожено, так гунны когда-то опустошили Рим.

А посередине площади, окруженной руинами домов и сожженными деревьями, лежал труп убитой скрипки, его божественной подруги. Дека расколота, выломан гриф, струны оборваны, и только одна верхняя струна была цела. Видимо, эти люди искали золото, деньги, какие-то ценные бумаги и разбили скрипку, надеясь внутри найти что-то ценное. Или из животной злости истоптали ее сапогами.

Он потянулся к своему растерзанному сокровищу и вдруг увидел, как два ярких луча залили ее светом, две сияющие руки подхватили ее. Зюся поднял голову и зажмурился от непереносимого сияния, а когда глаза привыкли, он отчетливо различил до боли знакомую фигуру в длиннополом сюртуке и шляпе.

Все это отдавало сном. Но Зюся мог поклясться, что видит Шлому как собственную ладонь, с исключительной ясностью. Тот держал скрипку и смотрел на нее с такой любовью, что у Зюси чуть сердце не выпрыгнуло из груди. Причем в руках Шломы она вновь была целехонькой. Корпус, гриф, подгрифок и подставка – все на своих местах; шейка соединена с головкой, на излете шейки завиток. Она призрачно сияла в пальцах у неземного клезмера, словно сотканная из того же света, посверкивала натянутыми струнами.

И пока Зюся вбирал в себя малейшие подробности этого чуда, Шлома взмахнул смычком и заиграл песенку о белой козочке, которую пела над Зюсиной колыбелью Рахиль.

Цигель цигель ай-лю-лю...

Козочка, торгующая изюмом и миндалем...

Hop, hop, ot azoy,

Est di tsig fun dakh dem shtroy...

Шлома пламенел, искрился таинственным сияньем, почти не касаясь земли, его одежда клубилась по краям и трепетала, будто на ветру. От него струился целый поток смеха и счастья. Скрипка под его смычком звучала то едва уловимо и зыбко, то пела голосом, полным силы, звона и веселья. Потусторонний, бестелесный ангел, играющий на скрипке, с головой, склоненной набок, с полужакрытыми глазами, сошедший с фрески, но его напев совсем не напоминал церковное песнопение: в нем зацокала копытцами еврейская козочка, от него запахло миндалем и изюмом!

Hop, hop, ot azoy,

Est di tsig fun dakh dem shtroy...

Каждый младенец знал “козочку” от пелен, но в эту простенькую мелодию явившийся с того света клезмер в пылу импровизации вплетал такие фиоритур, такие он ввинчивал туда пассажи и флажолеты, такое стремительное чередование пиццикато с арко и черт знает какое искусное стаккато, распахивая перед изумленным Зюсей поистине сверхчеловеческие горизонты скрипичной техники, – никто никогда и не мечтал о том, что наяву можно услышать нечто подобное.

А скрипка! Слава Всевышнему, Зюся не отдал ее Шмерлу и Амихаю! Ни один смертный не выдержал бы этой сумасшедшей сверхструктуры звука, ее *fortissimo* и *grandioso*, она обладала силой вихря, мощью урагана. Как лук Одиссея, Зюсина скрипка могла принадлежать лишь его отцу, маэстро Блюмкину, больше никому.

Внезапно за окном обозначилась золотая тропа, казалось, она берет начало под ногами Шломы, а ведет куда-то вдаль и вверх, в глубины Вселенной, над жестяными крышами и печными трубами Покровки. И вот, заканчивая последние такты, певучая, бесконечно длинная нота повисла в воздухе. Минуту, две она вибрировала, не обрываясь, источая энергию чистого бытия в потоке любви.

Потом Зюся уже никого не видел, а только улавливал, как играла скрипка в небе, примерно на высоте тридцати пяти градусов над горизонтом, продвигаясь с юга на запад, причем ее голос не перемещался, а ширился, как ртуть в термометре, пока не заполнил все пространство.

А когда скрипка постепенно умолкла и слышался только шелест деревьев за окном, омываемых дождем, он потом говорил, у него в ушах пело все творение.

Зюсик встал на колени перед остатками скрипки, бережно собрал их, завернул в кусок разорванной наволочки и поспешил обратно, к Филе Таранде, прижимая к груди драгоценный сверток.

Дома стояли вокруг, провожая его мертвыми глазами-окнами. Ворота были распахнуты, во дворах валялись разбросанные вещи, порванная одежда, сломанная мебель, разбитая посуда. На мокрой грязной дороге лежали там и тут белые скомканные простыни и разрезанные подушки.

Быстро, не оглядываясь, добрался он до своего убежища, постучал в окно, ему открыла Дора, Зюся юркнул в дом, закрыл ворота, подперев их для надежности поленом.

Над Витебском сомкнулась ночь, черная, безмолвная, пропитанная гарью и несчастьем, и только где-то там, со стороны реки, доносилось пение соловья. Бессмысленное, безрассудное, не ведающее горя, словно весть из каких-то далеких времен, когда все были счастливы и живы.

В полдень седьмого декабря в Москве началась забастовка. Рабочие на заводах, бросая к лешему работу, выковывали себе боевые кинжалы. Повсюду устраивали короткие летучие митинги. Члены Московского комитета рассеялись по районам, как чумовые бациллы.

В облаке пара, хлопнув дверью, обитой дерматином, в старом фабричном помещении дома Молодцова по Золоторожскому переулку возникла товарищ Землячка. В комнате было тесно, накурено, сквозь запотевшие стекла очков бойцы пролетарской армии показали ей на одно лицо. Она протянула Стожарову длинную жесткую руку и представилась:

– Демон!

– Приятно познакомиться, – ответил Стожаров.

Розалия неодобрительно глянула на огненно-рыжего Макара, а заодно и на все рогожское воинство: железнодорожника Ильина в романовском полушубке, фельдшера Подобедова, десятника курской дружины Плешакова – тот, словно орлица на гнезде, в мерлушковой шапке “гоголь” сидел на ящике с бомбами... Наметанным взором окинула остальных собравшихся совершить скачок из времени – в вечность, разнообразно вооруженных и жаждущих битвы, скользнула взглядом по куче шапок и разноцветных рукавиц, сваленных в углу комнаты, по черным, серым, белым чесанкам с галошами, потертым сапогам и раздолбаным штиблетам...

“Боже мой, на что же они годятся?” – с отчаянием подумала Землячка.

Естественно, РК Рогожского района не имел заранее разработанного плана боевых действий, как и другие районы Москвы, кроме Пресни и Каланчевки.

В книге “Мы – новый мир!”, отделенной от меня теперь бесчисленными веками, Стожаров писал: “Наше восстание ни в коем случае нельзя назвать организованным восстанием. Рабочие массы, выйдя на улицу, не знали, куда им девать революционный запал. А мы, активисты, только митинговали, держа всех в приподнятом настроении, зажигая сердца. Когда же грянула пора скрестить оружие, мы полностью оторопели”.

Да и как не оторопеть! Никто толком не соображал, когда начать главное – валить городских? Если бы не Демон, рогожцы и вовсе бы растеряли всю латынь.

– Товарищи! – воззвал к ним он, а вернее, она. – Центральный комитет арестован, поэтому централизованного руководства не ждите. Никто не даст вам избавленья: ни бог, ни царь и ни герой. Вы обязаны сами перевести свою стачку в победоносную революцию. Перед нами стоит во всей силе неприятельская крепость, из которой осыпают нас тучи ядер и пуль, уносящие лучших борцов. Мы должны взять эту крепость, и мы возьмем ее!

Комков с пуговичной фабрики Ронталлера помог большевистскому эмиссару забраться на табуретку. (Макар говорил, что ему тогда намертво врезался в память ее накрахмаленный, как будто гипсовый, белый воротничок.)

– Стройте баррикады, эти твердыни перед лицом вражеской рати, – громоподобный звук ее голоса сотрясал небо и землю, – устраивайте засады, из чердачных окон подкарауливайте проезжающего казака или полиция! Не останавливайтесь ни перед пулями, ни перед штыками! Жертвы неизбежны, но бывают моменты, когда промедления в действиях не простят потом ни народ, ни ваша собственная совесть.

Стожаров надел свое пальтецо, сунул тяжелый холодный браунинг за голенище, вышел из помещения, рассекая сизый табачный дым, за дымом – ударил в лицо морозный воздух. Город погрузился в темноту, фонарщики затаились, Совет запретил им зажигать фонари. А где они, фонари? Побили камнями восставшие. На улице многолюдное торжище, рабочие гуляют веселой толпой с гармониями и красными флагами. Мороз трещит, кусает за уши, на углах горят костры, подходи, прохожий, но бойся, начнут шерстить – не сносить головы. Ворота на чугунных замках, нижние окна – закрыты наглухо, ни лучика света.

Макар и еще пятеро таких же – в поддевках и пальто на вате – вышли к Новорожеской, и закипела работа. Эх, минули времена, когда по Владимирскому и Рязанскому трактам съезжались на Рогожку караваны обозов, кибиток и тарантасов! Поставив их на попа, неукротимые чаеразвесчики, и в первых рядах мой сумасбродный дед, вздыбили бы к небесам гряды баррикад. А так – из подручных средств они валили столбы, ломали заборы, опрокинули пару телег, что стояли у почты, прикатали будку, оклеенную афишами, тащили дворовые ворота, садовые скамейки, круша и сметая все на своем пути. Через час подтянулись железнодорожники из Курских мастерских.

Лязганье пил, стук топоров, треск столбов и заборов, скрип снега под башмаками да ругань дружинников, что телефонный столб не поддается, наконец, он затрещал и рухнул макушкой на трамвайный путь. Слепящий сноп искр на миг озарил улицу, и она снова утонула во мраке.

Ночь напролет рубили телеграфные столбы, как елки в лесу, резали провода, мотали проволоку вокруг поваленных столбов, волокли на проезжую часть. “Чувствовался небывалый подъем народного сознания, – писал в своей книге Макар, – жители окрестных домов норовили притараканить последние столы и кровати, стулья и табуретки, шкафы и сундуки с барахлом – все для победы русского революционного движения в борьбе за диктатуру пролетариата”.

Тьма баррикад из телег, чугунных изгородей, бочек, ящиков, кабельных барабанов, дров, мешков с песком и домашнего скарба выросла на Таганской площади, у Яузских ворот, Краснохолмского моста и Рогожской заставы.

С железнодорожных мостов на улицу сбросили несколько товарных вагонов. Доски лопнули от страшной силы удара, с ужасающим грохотом разлетевшись веером, и сквозь трухлявые клубы пыли прошли, как ростки новых побегов, brave гужонцы с лопатами и ломами – подкрепление.

“Мы старый мир разрушим”, – пел Макар, когда выковыривал ломом булыжник из мостовой.

Казалось, разрушь он эти убогие домишки, где выбитые окна заделаны тряпьем и бумагой – и в любой щели ютится по два-три семейства, смети с лица земли сточные канавы да выгребные ямы, и вся чайная пыль и свинцовый дым выветрятся из его молодого, но уставшего тела. А то, что слоняется и бранится, пьет, курит, ссорится, дерется и сквернословит, приобретет небывалые формы обличья совсем других людей, где каждый будет сиять, подобно светильнику в ночи.

Именно он, Макар Стожаров, должен переустроить мир и по этой причине сбросить свою пегую клочковатую шкуру, словно весенний волк, и мир станет свежим, молодым и красивым, как он сам.

Когда баррикады окружили завод Гужона и Курские железнодорожные мастерские, превратив район в неприступную крепость, Макар в лихо заломленной бадейке влез на вершину баррикады, возвел руки к московскому сизому утреннему небу и заорал:

– Ну что? Где околоточные, городовые, мать вашу, давай к нам!

– Пусть только сунутся, мы им пропишем ижицу, – сказал Плешаков, карманы его пальто оттопыривали маузер и увесистый запас патронов, а под крыльцом у трактира, где выступал знаменитый в округе торбанист Говорков (он играл на торбане, плясал с ним и пел, и еще там играла машина из “Жизни за царя” и “Ветерок” из “Аскольдовой могилы”), был припрятан Плешаковым мешок с бомбами, это придавало уверенности в скорой победе.

Начальники боевых дружин: от Гужона – Авдеев, от Губкина – Кузнецова – Ильин-Милюков и вся их районная рать, крепко сжимая в ладонях “бульдоги”, смит-вессоны, парабеллумы, винчестеры, маузеры, кто пику, кто рукоять сабли, засели по чердакам и дворам, один мой безудержный дед возвышался, как шиш на пригорке, метателю грома главой и очами подобный, готовый к пальбе, канонаде...

Но город тихо лежал у его ног, стылые слепые дома, черные окна, ни солдат, ни драгун, ни казаков, за версту никого не видать, не слышать, даже лай собаки.

Разведка донесла, что полиция спряталась и участки стоят пустые.

– Мы вломились туда, – Макарка рассказывал Стеше, а она записывала, записывала, – ломали там шашки городских, рвали и жгли бумаги...

Воспользовавшись разлитой в утреннем воздухе звенящей тишиной, организаторы района Хренов от “Жукова” и Мандельштам (Одиссей) провозгласили Рогожско-Симоновскую республику, которую они давно прозревали в тумане будущего, и тут же вынесли резолюцию о прекращении платежа за квартиры и выдаче продуктов рабочим в кредит. А когда хозяин мясной лавки (мясники были хорошими кулачными бойцами) отказался выполнять постановление новой власти, к нему в лавку явился товарищ Авдеев, известный под кличкой Мишка Стессель, и как бабахнет из револьвера в потолок, чем и окоротил смутьяна.

Десять дней продержалась свободная Рогожско-Симоновская республика, фактически рай на земле! Осталось только взойти и зазеленеть над снегами Древу Жизни, о котором грезил Стожаров. И под этим страстно искомым Древом забьет источник любви, сострадания и безграничной радости, не знающей горя и печали...

Меж тем за рекой вскипала битва, грохотали пушки, трескали пулеметы. Небо над Москвой горело от пожаров. Над Пресней клубились черные тучи дыма. На Тверской и на Страстной площади, у Старых Триумфальных ворот, на Кудринской площади и на Арбате шли бои с казаками и драгунами. Дрались отчаянно. А мороз, все обледенело. Из Петербурга

по Николаевской железной дороге с карательной экспедицией прибыли две тысячи солдат Семеновского полка, конно-гренадерский полк, часть гвардейской артиллерии, Ладожский полк и железнодорожный батальон.

Революционеры бросали бомбы и отстреливались из окон зданий, охваченных огнем.

– А я что, рыжий? – бормотал Макар, пробираясь переулками к центру. – Прозябать на обочине революции? Вафли сушить?!

В городе суматоха, войска палили вслепую “по площадям”, учиняли побоище на большой дороге, направо и налево косили людей, часть сдавшихся бунтовщиков была зарублена уланами, все выжжено, опустошено, а наш Макар, как лосось на нерест, рвался против течения на помощь Пресне.

Около баррикад шевелились неясные силуэты, озаряемые факелами, – добровольная милиция, организованная генерал-губернатором Дубасовым, в народе именуемая “черносотенною”, разбирала баррикады.

По заледенелым пустынным улицам шли солдаты, стреляя без разбору по всему, что высывалось из окон или из-за баррикад. Чтобы не замерзнуть и для куража принимали дармовой водки на грудь.

Как наш Макар ни нарезал винты по проходным дворам и подворотням, въехал с разбегу в угарного фельдфебеля.

– Ни с места, мерзавцы! – тот заорал, уперши дуло нагана в грудь Стожарова. – Кто побежит, получит пулю в затылок!

Трещала ружейная пальба, в воздухе что-то свистело, что-то щелкало. Макар шмыгнул в ворота большого каменного дома с заколоченной наглухо булочной и заметался, пытаясь проскользнуть в какую-нибудь щель.

Во двор уже входили семеновцы. Его схватили, обыскали, нашли в голенище браунинг. Безликий солдат ткнул штыком в живот Макара, как в мешок на плацу. Упал на ледяную землю Стожаров, ударился затылком о камень, затих.

Воители ушли, волоча за собой пулемет, весело матюгаясь: несколько дней им еще бродить по чужому городу, отлавливать бунтовщиков, давать им копоты.

К утру канонада прекратилась, лишь изредка патрули, объезжая улицы, постреливали холостыми залпами, пугали народ.

В мутном предутреннем свете Макар открыл глаза и увидел над собой круглое лицо Ленина, оно висело над городом, как розовое солнце.

– Вставай, поднимайся, товарищ Стожаров, – услышал он голос Ильича в недрах своей черепной коробки. – Дела наши говенные, но мы еще увидим небо в алмазах.

Макар весь был как кусок льда, ноги его не слушались, голова болела, на животе горела рана. Он сунул руку за пазуху тужурки и вытащил из кармана пробитый насквозь портсигар.

Вот он лежит на дне сундука среди других дорогих Макару Стожарову памятных вещей: стопки удостоверений и мандатов с совещательным голосом, пропусков в Кремль, свидетельств Челябинской и Таганрогской, Мелитопольской и прочих Чрезвычайных Комиссий по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлением на право ношения огнестрельного оружия – револьвера системы парабеллум за номером “2929” – 1920, 1921, 1922 годов (револьвер вместе с шашкой Стеша успела сдать в Музей революции как раз перед самым его упразднением), германского трофейного бинокля “Busch”, красно-синего граненого карандаша, подаренного Бухариным, блокнотов и дневников, куда он скрупулезно заносил события своей мятежной биографии.

Портсигар, сохранивший его молодую жизнь в те страшные декабрьские дни, когда мела без устали ледяная поземка, сметая его товарищей с лица России как красную пыль, увлекая его самого то в Сибирь на каторгу, то на западный фронт, как костяную пыль, как

человеческий сор в избранном сгустке вещества, который называется земным миром, – был ему дорог больше всего.

“Погружаясь в записки Макара Макаровича, – пишет в предисловии Стеша, – автор обнаруживает, что речь идет о новом роде дневника, не документальном и бесстрастно фиксирующем каждый шаг и вздох, но художественно осмысленном, творческом воссоздании реальных событий и действительности тех лет. Умственным взором он постоянно возвращается к одним и тем же биографическим фактам и порой трактует их по-разному. И это неудивительно, поскольку...”

Далее следуют рассуждения, включающие пространные цитаты о том, что уникальные особенности представлены там и сям в неописуемом множестве, достаточно быть готовым к наплыву видимостей. Но взгляды, жесты и позы, придающие непрерывность реальности нашим грезам, не переставая взаимопроникают друг в друга, служа неоспоримой загадке существования.

Заканчивается страница словами романса, который она записала впопыхах, простым карандашом, услышав по радио на кухне:

Мы странно встретились
И странно разойдемся.
Улыбкой нежности роман окончен наш.
И если к памяти прошедшего вернемся,
То скажем: это лишь мираж...

Так иногда в томительной пустыне
Мелькают образы далеких (чудных) стран.
Но это призраки, и снова небо сине.
И вдаль бредет усталый караван...

А на обороте:

Баклажан тушить
в масле подс.
мин. 15
+ петрушка, чеснок,
сметана или майонез.
Кабачок нарез.
+ перчик (1), помид.
лук (обжарить)
+ помид.
+ кубики кабачка.

Все это сплавлено в единую текстуру. И завершается финальным аккордом:

...Несовершенно сущее, однако есть старые ценности человеческого сердца, и первая из них – человек, другой человек. Тогда пространство перестает быть неодолимым. И после долгого прощания наступает новая встреча.

*Для которой приготовлены время и место.
И другая жизнь.*

– Знаешь, какая девичья фамилия была у моей Маруси? – спрашивал меня Ботик. – *Небесная*. Маруся Небесная. Как тебе это нравится? Чистый ангел, дочь морского офицера,

она родилась с золотой ложечкой во рту. И я – взъерошенный, косматый, со вздыбленной плотью, вздымающимся до небес членом, могучим и несгибаемым, крепким как сталь. Я пылал такой страстью всепожирающей, что не мог ни думать, ни разговаривать, меня спросят, а я мычу в ответ, вот до чего дошел. Мы с ней бродили по Витебску, израненные своей любовью, сидели, обнявшись, на берегу Двины, смотрели, как идут баржи и плоты, покачиваясь, плывут под мостом. Иногда плоты врезались в опоры. Бревна трещали и становились торчком, гребцы еле успевали увернуться. А мы целовались, целовались, забыв обо всем на свете.

От нее пахло лимоном и ванилью, в кондитерской на Задуновской у нас продавалось такое лимонное печенье. Стоило ей отойти от меня хоть на шаг, я всюду искал этот запах, нюх у меня обострился, а зрение стало сферическим, похоже, я возвращался в мир животных и дальше – по какому-то сияющему туннелю катился к началу мира, к божественной сердцевине нашего с ней существа.

Мы изнемогали от любви. В теле у меня гудело электричество, ты, наверно, знаешь это чувство, когда электрические токи движутся в твоих венах, подобно крови. Филя говорил, я в темноте светился зеленым светом, как гнилой пень. От меня током било. Я мог бы летать и сквозь стены проходить. А сам ночи напролет, идиот, простаивал под ее окнами. Она тоже не ложилась, маячила до рассвета у темного окна, хотя оба мы валились с ног от усталости.

– Ты моя первая и последняя любовь, – я говорил ей, – любовь до гроба.

– Хорошо, – она отвечала голосом, от которого у меня дрожь пробегала по телу и волосы ерошились на голове.

Я качался как маятник между отчаянием и надеждой, непреодолимым соблазном и диким трепетом перед Небесной Марусей. Я не торопил ее, ждал, когда она окончит гимназию. Стоял у двери женской витебской гимназии и ждал – в прямом смысле, как часовой “с ружьем”.

Филя мне говорил:

– Борька, надо тебе чем-нибудь заняться! Хватит ночами жечь керосин. Я буду учить тебя лепить глиняные миски, – и поставил меня перед гончарным кругом.

А теперь представь: крутится гончарный круг, у отца выходят обыкновенные горшки, а под моей рукой рождаются кувшины несусветной красоты в виде торса женщины, причем вот именно моей Маруси. Ее талия, грудь, бедра, плечи и живот, ее округлые теплые мягкие ягодицы, мои руки обвивали ее стан, сплетались с ее руками, сливались в нестерпимом блаженстве, и если к этому сосуду, к его полураскрывшемуся розовому горлу приложишь ухо – там слышались бормотанье, шепоты и стоны, словно из раковины морской.

Ой, Филя ругал меня, бил даже, пытался опустить на грешную землю.

Только тогда притих, когда у него в один миг раскупили мои кувшины и стали еще просить.

Но мать, Ларочка, покойница, никак не желала смириться с тем, что ее дорогое опекаемое дитя гибнет от любви и страсть ему затмевает разум. На меня штаны не налезали, а натянешь с грехом пополам – они трещали и расползались по швам.

Дора Блюмкина по просьбе Ларочки сшила для меня просторную рубаху до колен, так все только еще больше обращали внимание. Идешь, а впереди палка, как будто скачешь на деревянном коне.

Все ей говорили:

– Да ты жени его!

– Так он несовершеннолетний!

– Тогда отведи его к проститутке, Эльке-распутнице, раз ему так приспичило.

– Или к Маггиду, – сказал благочестивый Эзра – хламовщик, он всегда всех поражал своим здравым суждением. – Маггид приведет его в чувство с помощью особых таинств и

заклинаний. Не к эскулапу же его вести, в конце концов! Впрочем, – сказал он Ларочке, – я имею некоторое медицинское образование – я был массажистом в женской бане.

– Так это как раз то, что нужно! – обрадовалась Лара.

– Что ж, в таком случае я тебе дам драгоценный совет, – задумчиво проговорил Эзра. – Мой дедушка был старый еврей. Когда он умирал, он сказал: “Я тебе открою секрет ото всех болезней, в том числе от любви, и ты проживешь долго и умрешь здоровым: “три капли воды на стакан водки, и тщательно размешать!” Это были его последние слова, – печально закончил Эзра.

– Царствие небесное, – перекрестилась Ларочка. – Пусть покоится с миром.

И безнадежно покосилась на мои оттопыренные штаны.

Стожарова арестовали за Калитниковским кладбищем, где на вольном воздухе под сенью громадной старой черемухи собрались члены Московской организации РСДРП Рогожского района.

Лягушки квакают, раздувают пузыри щек, по лугу бродит лошадь, щиплет весеннюю траву, на дне оврага журчит ручей. В ожидании докладчика он прилег под черемухой, и ее неохватный шершавый ствол представился ему осью мира на окраине Вселенной. Макару почудилось, что корнями и кроной она обнимает весь мир, а вершиной упирается в небеса, и по этому дереву можно проникнуть в иные пределы.

Листьев не было на ней, вся в кипени цветов! Черемуховый аромат ему так задурманил голову, что в мечтах своих он уподобился герою, победившему змея из преисподней. Вдруг начался какой-то переполох, Макар почуял опасность, но и тут не выпал из сновиденья, а просто забрался, опять же в грезах, на вершину чудесного дерева, откуда его подхватил и унес орел!

Дальше он ничего не помнил, очухался в каталажке.

С той поры до самых последних дней Макар на дух не переносил запаха черемухи. И одному ему данной волей исключил ее из списка в кандидаты на звание Мирового Дерева. “Дуб, сосна, кипарис, ясень, эвкалипт, сейшельская пальма – пожалуйста, – говорил Стожаров. – Только не черемуха!”

О неразрешенном сборище в овраге 11 мая 1909 года Охранное отделение было заранее осведомлено, означенного числа чины полиции установили наблюдение и теплым вечером в сыроватой ложбине, поросшей мать-и-мачехой и островками синих подснежников, под звонистые трели соловьев изобличили сходку из шестнадцати заговорщиков.

– Четвертого мая 1909 года у Стожарова был произведен обыск, при котором, – блеклым голосом бесцветным монотонно докладывал на суде товарищ прокурора Судебной палаты И.К.Меркулов, – в занимаемой им комнате обнаружены преступные прокламации, газета и брошюры социал-демократического направления. На возникшем по сему поводу формальном дознании при производстве осмотра указанных предметов было установлено, что в числе отобранного при обыске у Стожарова оказалось следующее...

Меркулов съел свору собак по части обвинительных актов, да и с артикуляцией у него паршиво, поэтому судьи, присяжные и публика сидели со скучающими минами, защитник подпер ладонью курчавую голову, кажется, собрался вздремнуть. Прокурор Дулетов тоже витал в облаках, едва прислушиваясь к Меркулову, а тот бухтит под нос, будто ручеек журчит.

– ...Шестьдесят шесть экземпляров отпечатанного в типографии Московского комитета социал-демократической рабочей партии воззвания, – ровно, тускло, безучастно докладывал товарищ прокурора, – ...начинающегося словами: “Товарищи! – Внезапно голос его окреп. – Двадцать лет прошло с того времени, как пролетариат на международном съезде в Париже установил свой мировой праздник, Первое мая...” – Меркулов выпрямился, в его

фигуре, сжатых губах, сиплом тембре появилась не свойственная ему твердость, даже негибаемость, – ...оканчивающегося вот какими возгласами: “Да здравствует международная социал-демократия! – с огоньком, едри его в качель, великолепно артикулируя, воскликнул Меркулов. – Долой империализм! Долой самодержавие...”

Он весь съежился и немного постоял, раскрыв рот, выпучив глаза, пытаясь вернуться к привычному для него казенному ощущению.

– Что с вами, Игнатий Константинович? – как можно мягче спросил прокурор Дулетов, хотя, будь его воля, он дал бы Меркулову хорошего пинка.

– Сам не знаю, – откликнулся товарищ прокурора и с потерянным видом оглядел зал. Взгляд его упал на подсудимого Макара Стожарова – тот сидел на скамье, понутив голову, но глаза из-под лба, как буравчики, сверлили Меркулова, а в образовавшиеся дырочки будто залетали горячие огоньки, вжжих, вжжих! И потрескивали, словно сосновые полешки.

Товарищ прокурора нахохлился, крепкой ладонью короткопалой отмахнулся от огоньков и продолжил, виновато поглядывая из-за бумаг на прокурора, как можно более буднично:

– В этом воззвании, конфискованном у крестьянина Владимирской губернии, Переяславского уезда, Федорцевской волости, деревни Федорцева, Макара Макарова Стожарова говорится, что в текущем году с величайшей силой прокатится клич, в котором пролетариат выразит свою борьбу против классового господства капиталистов, стремления к такому строю... – голос его взвихрился, налился соками и завибрировал, – где не будет больше господства и подчинения! Ибо все, кто нуждается в кровле и хлебе насущном, получают в изобилии прямо из источника космического существования, – он испуганно глянул на присяжных, те окаменели, – ...но только в том случае, – коллапсировал помощник прокурора, – если мировая армия рабочих и крестьян осознает, что краткий период их собственной жизни – лишь только мгновенная вспышка бездонной жизни вселенной. А все великие эпохи и миры – лишь пузырьки, лопающиеся на ее поверхности.

Игнатия Константиновича бросило в жар, он скинул сюртук, заложил большие пальцы рук за вырезы жилета и вскричал:

– Но у российского пролетариата есть особенные основания отметить великий, я повторяю, **ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ ПЕРВОГО МАЯ** (Пресвятая Богородица, – забормотал Меркулов, – спаси и помилуй, что я такое несу?) Поскольку варварство, – декларировал он с нарастающим торжеством и накалом, – которое создается новейшим капитализмом, соединяется у нас (я извиняюсь, конечно, – еле успел он ввернуть), – с истинно русским варварством!

Уж ни от кого не могло укрыться – ни от свидетелей, ни от судей, – что сердце Меркулова вспыхнуло жаждой свободы, стремлением уберечь народные массы от жестокого порабощения, чем товарищ прокурора, человек немолодой, с обвислыми седыми усами, весьма и весьма потертый калач, ужасно разогорчил всю Московскую судебную палату.

Меркулов и сам не мог взять в толк, что с ним такое творится. Он в панике слушал себя со стороны, попутно соображая, какие необратимые последствия может иметь для него это проклятое судебное разбирательство.

– Вспомним тех, – словно в чад, разразился он новой вольнолюбивой тирадой, грузным туловищем устремившись вперед, – кто не пал духом в трудное время, кто в военных судах, судебных палатах и прочих застенках гордо принял вызов и не отрекся от пролетариата...

– Эх его пробрало! – чуть ли не присвистнул один из присяжных заседателей.

Зрители в зале суда зашумели, засмеялись.

– Во прокуроры чешут, как по писаному! – крикнул кто-то из рабочих от Фишера. Народу много набилось в зал – зрители стояли у двери и в проходе.

– Держись, Стожарыч, вам, рыжим, всегда во всем фортуна! – кричали знакомые Макару.

– Начальник-то – наш человек!..

Дарья Андреевна, мать Макара, в первом ряду, в платочке, молилась не умолкая Николаю Угоднику, Царице Небесной, Никите Столпнику, хотя ей было и невдомек – чем уж там всех смешил товарищ прокурора.

Дулетов недовольно постучал костяшками по столу, призывая к тишине и порядку.

– Игнатий Константинович, – сказал он. – К чему такая экзальтация?

Меркулов утер холодные капли со лба и прошептал:

– Ваше благородие, мне кажется, подсудимый меня гипнотизирует.

Оба они уставились на Макара, с виду злосчастного и бесталанного, но сам он почему-то сиял и лучился, как блин на сковородке.

– А вы не смотрите на него, – молвил после паузы прокурор. – Подсудимый, давайте посерьезней. Вас ожидает суровое наказание, и нечего тут, понимаете... проказничать.

Меркулов призвал на помощь все мужество свое, всю ненависть к ниспровергателям основ законоположения, но только еще пристальнее вперился в Макара, в его светло-голубые, шельмоватые глаза.

Неведомая сила распирала Игнатия Константиновича изнутри. Он пылко бросал в лицо присяжным заседателям цитаты из конфискованных брошюр, а заодно и другие какие-то странные вещи, которые всплывали в его сознании, словно глубоководные рыбы из маракотовых бездн, под свист и улюлюканье в зале.

В голове у Меркулова окончательно затуманилось, помрачилось. Шестое чувство подсказывало, мол, пора закругляться, да и господин прокурор уже щемил его и понукал. Вкатить рыжему черту окаянному статью сто вторую и припечатать пунктом первым, чтоб он сгорел за буграми!

Глаз у Игнатия Константиновича вспыхнул зловещим огнем, и он стремительно пошел на снижение:

– Итак, Макар Макаров Стожаров обвиняется в том, что, проживая в 1909 году в Москве, принимал участие в преступном сообществе – РСДРП.

“Ай, молодец, – думал про себя товарищ прокурора, – поймал наконец-то верный тон...”

– К тому же имел у себя для партийных надобностей, – невозмутимо продолжал Игнатий Константинович с видом человека, способного сохранять хладнокровие при любых обстоятельствах, – номер сорок второй от 12 февраля 1909 года издающейся в Париже газеты “Пролетарий”. А в этой газете, между прочим, говорится...

Меркулов настолько резво продвигался вперед, что помыслил опрометчиво: вот и проскочили, бог миловал, теперь все удостоверятся, с каким презрительным спокойствием он процитирует отрывок из статьи, заведомо для подсудимого возбуждающей к учинению бунтовщического деяния и ниспровержению существующего в России государственного и общественного строя.

– “Задача рабочего класса, – начал он степенно, – и цель его борьбы...” – он бросил надменный взгляд на Стожарова, а тот ответил ему ободряющей улыбкой.

В ту же секунду в районе солнечного сплетения Меркулов ощутил ужасную энергетическую вспышку, какие-то конвульсии побежали по телу, он хотел скрепиться и замолчать, но не смог воздержаться от ликующего:

– “...это свержение царизма! А также завоевание политической власти пролетариатом, опирающимся на революционные слои крестьянства!”

Повисла тягучая пауза.

Товарищ прокурора вытянулся во фрунт перед Макаром и неотрывно глядел на него во все глаза, будто на какого-то сфинкса, которого никак не разгадаешь. Публика в зале тоже стихла. Только Дарья Андреевна, мать Макара, шевелила губами, повторяя про себя:

– Вонми убо молению нашему, и путь нашего земного скитания управи, в жизнь вечную сей приводящи и всем нам чистоту помышлений подаждь...

– Подайте-ка сюда Обвинительный акт, милостивый государь, – нарушил тишину Дулетов.

– Да-да, Игнатий Константинович, – поддержал прокурора судья. – Уж вы, голубчик, сядьте, отдохните, а то и врача можно вызвать.

– Извольте, – ответил Меркулов, испуганно моргая глазами.

– Так вот, на основании изложенного, – объявил Дулетов, – за участие в преступном сообществе – Московской организации российской социал-демократической рабочей партии, а также за хранение на своей квартире библиотеки, возбуждающей к ниспровержению существующего в России государственного и общественного строя, считаем, что преступление это предусмотрено первой частью сто второй статьи Уголовного Уложения.

– Иными словами, ссылка в каторжные работы, – подвел черту прокурор.

– За что? – закричал Макар со скамьи подсудимых. – Я нищий безграмотный чаеразвесчик!

– Какой же ты неграмотный, когда уйму книг имел? – нашелся Дулетов и победоносно взглянул на судью с присяжными, дескать, видали, лжеца и самурая? И не крестьянин он вовсе, а бунтовщик и вольтерьянец.

– Ваша честь, – обратился к судье защитник Истомин. – Позвольте обвиняемому сообщить, каким путем попала к нему найденная при обыске недозволенная литература.

– Получил при таких обстоятельствах, – с готовностью отвечал Стожаров. – Тридцатого апреля в девять часов вечера зашел я в трактир Обрасова на углу Сыромятниковской улицы и Земляного Вала. Там сел за столик и выпил водки. В это время ко мне приблизился черный человек и, спросив, где я служу...

– Негр? – перебил его Дулетов.

– Может, и негр, ваша милость, не знаю, пьяный был, убей меня на этом месте! Сунул сверток: “На, – говорит, – раздай там, у себя, в чаеразвеске, и за это держи тридцать копеек”. А я как раз задолжал буфетчику за бутерброд с селедкой и вторую рюмку. Он – шмяк – на стол сверток и дал мне тридцать копеек серебром. Ну, кто от такого откажется? Я и не отказался, спасибо, сказал, тебе, черный человек, взял тридцать сребреников и положил в карман. Мужик этот сразу ушел, но пообещал, что найдет меня и еще даст денег. В тот вечер я крепко выпил, как домой пришел не помню, а первомайскими воззваниями решил воспользоваться в качестве ватерклозетной бумаги.

– Приметы субъекта, оставившего тебе сверток?

– Приметы такие, – с воодушевлением откликнулся Макар. – Одет незнакомец был в черную шляпу. Когда я протянул к нему руку, желая удостовериться, что это не сон, рука моя прошла сквозь него, но в этом, ваша честь, ничего нет удивительного, поскольку все вокруг, и сюртук прокурора, и сами вы, ваше благородие, – не являетесь большой преградой. Как ваши бородавки на левом плече и в паху – вас не беспокоят? Мать моя, Дарья Андреевна, великий мастер заговаривать бородавки.

– А ты, я вижу, Стожаров, – заерзал на стуле прокурор, и правда под сюртуком весь усыпанный бородавками, – великий мастер заговаривать зубы.

– Что подделаешь, ваше высокородие, все в этом мире просвечивает, – вздохнул Макар. – Виноват я перед тем черным человеком, деньги пропил, а дело не справил!

– Врет, врёт, бармалей! – крикнул прокурор, так что за окном с жестяного карниза вспорхнули голуби.

– Нет, а почему? – возразил судья. – Какая, говоришь, у него была шляпа?

– Черная, ваша светлость, господин судья, – отвечал Макар. – С большими полями. Глаза прячет и деньги сует. Я взял монетки-то, а они горячие, пальцы жгут.

– Но вы их не бросили, а прикарманили, – заметил судья Белоцерковский и осторожно кашлянул в кулак.

– Я ж пьяный был, а когда я пьяный... вон, матушку мою спросите, когда я пьяный – могу уголья из печки достать и не обжечься!

Все замолчали. Видимо, представили, как Стожаров достает уголья из печи и жонглирует ими с усмешкой, да еще танцует вприсядку.

– Ах, он не может читать! – Дулетов выложил последний козырь. – А сам красивым почерком без помарок накатал целый каталог преступных книг и брошюр, да еще для партийных нужд законспектировал лекции по вопросам программы и тактики социал-демократии.

– Писать могу. А читать нет, – не раздумывая, ответил Стожаров. – Ибо чтение, ваша светлость, считаю напрасной тратой жизненного ресурса.

Тут секретарь Зенькович открыл свой брегет и произнес:

– Прошу встать. Суд удаляется на совещание.

Все зашумели, загремели стульями и вышли из зала.

Летними вечерами Иона играл на кларнете в витебском Городском саду.

Там была деревянная эстрада и в пять рядов скамейки, потом клумбы с королевскими бегониями, настурциями и ночным табаком, дальше танцплощадка – под сенью лип, дружно расцветавших в июне, с гудящими шмелями в листве.

Ботик одуревал от запаха цветущей липы, он пригибал ветки и совал голову в самую гущу, вдыхая медовый аромат, так что носы у них с Марусей Небесной были вечно в пыли. Оба они являлись заранее, усаживались перед эстрадой и смотрели заворуженно, как Иона вынимает из чехла колена кларнета – верхнее и нижнее, завернутые в мягкие зеленые полотенца, раструб и мундштук с тростью, превращая сбор своей дудочки в некое священнодействие.

Иона любил эту “ракушку”, хотя впоследствии, когда слава коснулась его чела, он воздерживался от игры на открытом воздухе. “Даже в самых благословенных местах, – говорил Иона, – редко сходятся три важнейших фактора – тишина, отсутствие излишней влажности и прекрасная акустика. Но когда я бываю в нашем Городском саду, ты, конечно, помнишь, Ботик, ту эстраду? – я немного становлюсь другим, как будто душа моя исцеляется, как будто я вдохнул другого воздуха...”

Конечно, Зюся мечтал, что сын пойдет по стопам деда: мальчик с детства неплохо пиликал на скрипочке. Но саксофонист Биня Криворот, у него Иона порой брал уроки, предупредил Мастера:

– Должен тебя огорчить, дружище. Он будет духовиком.

То, что предсказание Криворота сбылось, по сей день помнят старые джаз-клубы Нью-Йорка на 52-й Street, где он самозабвенно играл на кларнете-пикколо, кларнетах “А” и “В”, бас-кларнете, но главное, конечно, – на саксофоне и трубе.

Стеша говорила, у Макара была такая теория, что жизнь – подобна волнам на поверхности океана. А человек, он ей объяснял, как селезень, танцует на волнах. И от этого танца радость надо испытывать, радость, радость! – он нам втемяшивал, старый, больной, прикованный к своему креслу на колесах, переживший инфаркт, инсульт, второй инфаркт. К этому ко всему букету вдруг нам звонит Илария: старик “ни с того ни с сего” начисто лишился аппетита.

Стеша ему из Москвы везет в Кратово черную, красную икру, копченую колбасу, калачи из Елисеевского. Ухнет зарплату, накупит разных деликатесов. Он это нам же и скармливает. Исхудал, глаза ввалились, а все равно горят неугасимым пламенем.

Однажды утром проснулся и говорит жене:

– Сделай мне тюрю!

Приснилось детство, Дарьин холодный суп – самый простой, какой только может быть. Вот они, Стожаровы, сидят за столом, ложками стучат.

Илария мелко нарезала кубиками черного хлеба без корок, прогретого в духовке, нашинковала репчатого лука, два зубчика толченного с солью чеснока, натерла на терке хрена и все это сверху квасом полила.

Весь дом сбегался, каждому было интересно, как Макар тюрю будет хлебать.

– Я за тарелку тюри, – он говорит сладострастно, – за маленькую тарелочку – богу душу готов отдать!

Зажмурился, поднес ко рту ложку, вытянул губы трубочкой, с шумом втянул квасу в рот и такую физиономию горькую скорчил:

– Фу-у! Гадость-то какая!

– Да ты тогда маленький был, голодный! – смеется Илария. – А стал привередливый и старый.

– Мне скоро труба, – ухмылялся Макар, откладывая ложку, – мне есть вообще не обязательно. После того как я по этапу, гремя кандалами, на каторгу шел, в Таганке сидел, на империалистической газам дышал, под пулеметами Сиваш переходил, – еда это пыль для меня. А вам еще жить и жить.

При этих словах взор его сверкал величием и славой.

– А кто говорил, что жизнь – это сон? Что все мимолетно и не имеет под собой никакой реальности? – спрашивала Стеша.

– Жизнь – это пыль для меня, – отвечал Макар, – соринка в глазу. Мы – царство теней, страна сновидений. Но это страшная государственная тайна. Я еще в ГПУ давал подписку о неразглашении.

– Одной тебе скажу, – он ей шептал с горящим взором, – ты всегда была, есть и будешь. Но не такая, какая ты думаешь. Ни я, ни Панька тут ни при чем. Ты то, что было ДО твоего рождения и будет ПОСЛЕ смерти. Ферштейн? Полностью за пределами этого мира!!! Запомни, Стешка, и не удивляйся, ежели вдруг тебя шарахнет. Чтоб в психбольницу не загреметь, когда увидишь, что все пустое. Я чудом не загремел, хотя мне многие большевики ставили на вид: “Все люди как люди, а ты – как хрен на блюде!”

Макар вечно зубоскалил, посмеивался, неважно – над мимолетным или нетленным. Например, он тщательно выбирал для яичницы яйца в холодильнике. Его спрашивали:

– Макар! Ты по какому принципу выбираешь яйца?

– Просто я умею, – величественно отвечал он, – постигать суть вещей сквозь их скорлупу.

Потом он лишился речи – и только огонь в его глазах напоминал нам: радуйтесь, черти окаянные!

Нервы у Макара были нежные и тонкие, как нити паутины, и он обладал невероятно чуткой психикой. То, к чему другие потихоньку подбираются посредством теории или практики, на него обрушивалось, как вспышка озарения. Бац! И перед ним буквально сами собой раскрываются карты противника и весь его незамысловатый ход игры.

– Жаль только, – он щелкал пальцами, – это случается то через раз, то – через два на третий!

Так, по указу Его Императорского Величества Московская судебная палата в публичном заседании под председательством Белоцерковского, в составе членов палаты Зарембы, Стремоухова и Ргартова признали его виновным всего-навсего в хранении крамольной литературы и дали три месяца в Якиманке, за что Дарья Андреевна, залившись слезами, возблагодарила Никиту Столпника.

И тут же сосед по камере Усов, у которого прямо на лбу написано печатными буквами: ПРОВОКАТОР! – настолько расположил к себе Стожарова, что тот распахнул ему душу, с хохотом рассказав, как он там всех паутинил, а сам-де – бывалый большевик, революционер и забубенный подпольщик. Это повлекло за собой, учитывая несовершеннолетие Стожарова, год и шесть месяцев строгого режима в Таганской тюрьме.

Но бедная Дарья Андреевна все равно плакала от счастья, ведь Макара не угнали в Сибирь, куда уж ей не добраться. А в Таганку она любимому сыночку носила шанежки.

Впрочем, каторги Макар Стожаров тоже не миновал.

Ни каторги, ни солдатчины, ни передовой на Первой мировой.

“Здравствуй, доченька! – писала мне Стеша в феврале из Ялты. – Я совсем продрогла, ветер с моря пронизывает меня до костей. Лампочки в комнате перегорели, льют дожди, фрамуга сломалась, перед окном валит дым из длинной кирпичной трубы. Туалета в номере нет. Зато вокруг дома растут кипарисы. На ветку присела птица – пегая, крыло черно-голубое, здоровая, как ворона, но очень ласкового контура – голубинового, не вороньего. Море где-то слева, внизу, под горой, мне его не видно, и не надо. Ну его.

Тороплюсь, каждый день хоть немного продвигаю свою книгу об отце. И если судьба будет ко мне милостива, то я отыщу его, затерявшегося в безначальном времени. Мне кажется, те, кого уже нет в этом мире, но кто живет в моей душе, всё с большей отчетливостью предстают передо мной. И те, кого мы не перестаем любить, становятся незримым, но ясно ощутимым сводом, под которым мы движемся к тому моменту, когда все утонет в любви.

На кучку писателей, которые приходят в столовую отрешенные от мира, погруженные в самое себя, смотрю как на небожителей. Это какую надо иметь отвагу, какое завидное воображение, чтобы из воздуха создавать миры и неведомые доселе судьбы, если, даже имея сундук сокровищ, доверху набитый архивами и дневниками героя, ведая о каждом мгновении его бурной и своевольной жизни, понятия не имеешь, черт возьми, с какой стороны и подступиться.

Ходишь, ходишь кругами, тщетно пытаешься схватить быка за рога, хотя у тебя припасена для этой корриды пара бандериллий, но пока-то осмелишься вонзить их в холку, а ты уж летишь, израненный, на опилки, вот такой твоя мать незадачливый матадор.

Читаю тетради Макара о Таганской тюрьме. Оказывается, немецкому языку его научил сосед по камере Андрей Бубнов, будущий нарком просвещения.

«Немного знаю немецкий язык, – пишет папка в анкете, – понимаю одно слово из десяти». От Бубнова он услышал про софистов, Юма, Спинозу, Дидро, Руссо, энциклопедистов. Категорический императив, трансцендентный мир, Кант, Гегель и, наконец, эмпириомонизм...

Там же, в Таганке, читал ему лекции по истории и естествознанию Николай Бухарин по прозвищу Бухарчик, Коля-балаболка или, как сам он себя называл, Мойша-Абе-Пинкус Довголевский. Всю жизнь этот идеолог пролетарской революции охотился за бабочками (такую коллекцию бабочек, как Мойша-Пинкус, имел только Ротшильд!). Тюремную камеру Коля сплошь изрисовывал портретами Карла Маркса. Надзиратель-татарин ругался: «Шайтан на гайтан!» – до ночи смывая их мокрой холстиной, а наутро всклокоченный идол бородатый сверлил его отовсюду взглядом, даже с потолка! В отверстие «из-за параша» (в стене была

дыра, отцу показал ее тот же Бубнов, сидевший до Бухарина) папка наблюдал эту комедию. Отцу восемнадцать, Бухарину двадцать, Бухарин учил Макара марксизму, а тот обучал Колю, как надо свертывать «цигарки», и потешался над ним: «Интеллигент сраный, не может вертеть папиросы...»

Вот так и перебираю – идеи, жанры, сюжеты, как бусины четок, будто мы действительно имеем свободу выбора, а не исполняем единственную нам предназначенную кем-то роль.

Пиши мне, пожалуйста, а то очень одиноко без тебя!

Целую

мама”.

В самом деле, полистать автобиографию Стожарова – он только и делал что веселился: в Таганке, Якиманке, Бутырке... Веселье, как масло, смазывало колеса его жизни. Все тешило взор и услаждало слух, куда бы ни забросила его судьба, старик возбужден, воодушевлен, такой у меня был дед, которому сам сатана показывал фигу в кармане. Недаром он пишет в дневнике, что мир ему представлялся не в виде четких предметов, а в виде вихрей, энергетических вибраций.

Только Макар хлебнул вольного воздуха, выйдя за ворота Таганки-тюрьмы, пересек, пританцовывая, Таганскую площадь, завернул за Новоспасский монастырь, распугав стаю жирных голубей, напевая “Блоха-ха-ха” – Шаляпин навещал узников и пел им арию Мефистофеля, повезло Макару, первый и последний раз услышал он этого великого певца именно в тюрьме... Прошел до Рогожской-Симоновской, отворил ободранную деревянную дверь родимого дома, как там уже его ждали два солдата, сидели на табуретках и курили ядовитую махорку.

– А во-от и он, Стожаров Макар Макаров, ты нам и нужен, собирай свои манатки и на вокзал, – схватили под локотки, не дали с матушкой попрощаться, только поздороваться, а уже сидит он на деревянной лавке заплеванного литерного вагона с другими молодыми новобранцами, кругом мат-перемат и несознательные речи. Служу отечеству и батюшке царю, так его перетак, так его перетак, – стучали колеса, везли на границу Империи.

В Орле решил Макар бежать, на станции их вывели покурить, пересчитать, часовой зазевался, Стожаров юркнул под вагон, пересек пути, вспрыгнул на поленницу шпал, зацепился за костыль, растянулся на шпалах. А там уж крик, свист дорожных полицейских. Скобоченный от удара о рельсу, нырнул он под товарняк, выскочил к зданию вокзала и смешался с толпой.

Впервые в Орле, всё в новинку, заглянул в чайную, хозяин оказался приличным человеком, дал солдатiku рюмку водки и соленого огурца, это Макара немного взбодрило, ноги сами собой принесли в баню. Он рассупонился, сбросил гимнастерку, галифе, портянки, веничек под мышку и в парную – отряхнуть с ног своих прах солдатчины и “чижовки”. А там, в клубах пара, хлещутся березовыми вениками оба его персональных конвоира, посланных для поимки беглого Стожарова.

Под усиленной охраной, вторым эшеленом, как неблагонадежного во всех отношениях субъекта, Макара отправили в Кременец, где его муштровали и терзали, всю кровь выпили, душу вытряхнули, короче, вздумал он бежать в Галицию. Куда там! На границе арестовали, возвратили в полк, “так я до того отощал, – он писал в своих мемуарах, – один хер остался!”

Казалось, дни Стожарова сочтены, с чем его и отослали в Москву – чтоб он в лазарете дух не испустил. Не тут-то было; сразу по прибытии Макар возглавил партийную подпольную работу Рогожского района, направил в Государственную Думу письмо, осуждающее действия правительства, и провел ряд летучих секретных заседаний райкома с делегатами от заводов и фабрик – в чайной Горяченкова (Банная переулок), в чайной Конопелько (Николо-

Ямской), в чайной напротив Товарной станции по Курской железной дороге (Владимирское шоссе), в школе на Калитниковском кладбище при Бойнях (ответственная – учительница Половинкина), потом Большая Андроньевская – угол 3-й Рогожской улицы, внизу лавка Финникова, еще один явочный адресок – за Калитниковским кладбищем, в Аненгофской роще и в Тюйфелевой роще около деревни Кожухово.

Провал за провалом сопровождали его уверенную революционную поступь. По всем рогожским чайным катилась волна арестов, разгромлена нелегальная типография, где Стожаров печатал на гектографе будоражащие листовки собственного сочинения и распространял их с шальным размахом. Целиком арестована социал-демократическая организация Губкина – Кузнецова, Гужона. Макар приговорен к трем годам каторги в Сольвычегодске.

Двести ссыльных, в том числе и Стожаров, брели до Савеловского вокзала по улицам, волоча за собой кандалы, с трудом переставляя ноги в “браслетах”, что он описывает с юмором, подтрунивая над своими мучителями.

“Здорово, Вася! Поздравляю с прошедшей Масленицей. Что же Вы ничего не пишете? Пиши и пришли финансов поскорей. Ибо у меня очень плохи материальные обстоятельства, – шлет Макар брату открытое письмо-фотографию из места своего предписания в Самарканд. – Новости такие: после 5-месячного заключения приехал в Сольвычегодск на 3 года, по прошествии которых пойду в солдаты дослуживать.

Буду ждать ответа и денег.

Мой адрес: г. Сольвычегодск Вологодской губернии, политич. ссыльному Макару Макару Стожарову”.

Правда, нигде я не нахожу свидетельств, что был у Макара Стожарова родной брат Василий. Однако, несмотря на зыбкость и двойственность этой ситуации, все-таки привожу его полностью, написанное с таким каллиграфическим мастерством – трудно поверить, что это письмо простого рабочего чаеразвески.

Довольно странно, что пишет он Василию Макаровичу Стожарову в Дом Губкина-Кузнецова. Но круглые печати – “Самаркандь” и две “Сольвычегодскъ” (одна была сделана перлюстратором в почтовой конторе, и вторая, которая загасила марку Империи номиналом 3 копейки) – заставляют нас думать, что у Макара и впрямь был брат Василий, тоже чаеразвесчик, Василий Макарович Стожаров, только неясно, какими ветрами его занесло в цветущий изобильный знойный Бухарский край.

На лице открытки – фото Макара, потемневшая сепия смягчает строгие черты, но все равно видны огнемечущий взгляд, устремленный в революционное будущее, ситцевая рубашка застегнута на две верхние пуговицы, чистый воротничок (будучи в ссылке Макар не опускался видом, одевался опрятно, модно, даже щеголевато), лицо округлилось и посвежелело, мороз и солнце явно пошли ему на пользу. После тюрьмы и дальней дороги в Вологодскую губернию с “браслетами” на ногах Сольвычегодск оказался курортом: железистые воды, летом рыбалка в озере Солониha и реке Усолка, прогулки за грибами в лесок. (“Если отбросить предвзятость, – пишет Макар, – окажется, что зрелище это совершенно чарующее”.) О чем мечтать еще каторжанину? Да царский пенсион в 7 рублей 40 копеек помесечно.

На столе лежит газета, фокус размыт, камера сосредоточила свой взгляд на Макаре, в центре газеты чей-то портрет, похоже, что Николая Второго. Можно сказать про эту композицию так: царь в тумане, и я, Макар Стожаров, вижу его незавидное будущее.

Дал Макару эту газету его новый друг Степан Захаров (“Крот”), попавший сюда по тому же делу, одногодок Макара, мастер тактики уличных боев и фортификации, неутомимый борец с самодержавием, а также с “отзовистами”, “бойкотистами”, “ультиматистами”, “впередовцами”, “голосовцами”, “примиренцами”, “богостроителями”, “богоискателями”,

“ликвидаторами”, меньшевиками, да и с большевиками он не соглашался по целому ряду вопросов.

Это была мятущаяся натура, постоянно обуреваемая жаждой пропустить стакан-другой, приверженная всему, что есть на свете непостоянного и зыбкого. Ни тюрьмы, ни каторга не оказали влияние на непоседливый нрав Захарова, ничто не могло сломить его прирожденную отвагу и обуздать пристрастие к перемене мест.

Почувяв властный зов неизвестно чего, Захаров без всякого сожаленья бросал насиженные места – будь то Таганка, Бутырка или Кресты, и бежал куда глаза глядят, не разбирая дороги. А философия, которую он исповедовал, как это понимал Макар, не вписывалась ни в эмпириомонизм, ни в Категорический императив.

– Никто не знает, зачем мы приходим в этот мир, – говорил Степан, откупоривая бутылку. – Разве только чтобы увидеть красоту той свободы, которую мы никогда не сможем понять и контролировать!

– Садись, – говорил он Макару. – Возьми стакан и садись.

Потом он клал руку на коротко остриженную голову Макара и говорил:

– Молчи.

Стожаров молчал, сжимая в руке граненый стограммовый стакан, они выпивали. Степан говорил о революции, о войне, о новой эре человечества, о счастье, о смерти. Суть его размашистых проповедей временами ускользала от Макара, чья вселенная полна была разумного созидания и пронизана миллионами связующих нитей. Как ни противоречил подобному мировоззрению ужас бытия и круг личных мытарств деда, он всегда прозревал сквозь эти случайные завесы и наслоения мировую гармонию.

Его собутыльник же – занятный, дружелюбный, способный из блохи голенище выкроить, с большими артистическими задатками, видел в сердцевине мироустройства сплошную бессмыслицу, хаос и распад. Он весело рассуждал об этом, по-своему остроумно, так что к концу пирушки Гармония Макара и Хаос Захарова сплавлялись в какой-то странный и непонятный гибрид, а ноздри у собеседников становились черные от копотных керосинок. (Стеша говорила, никто так не повлиял на представление Макара об универсуме, ни Бубнов, ни Бухарин, ни даже Ленин с Энгельсом и Марксом, как этот залетный политкаторжанин Захаров. “Он что-то знал, – таинственно говорила Стеша, – и в этом смысле стал Предтечей того Макара Стожарова, который очистился от всех помрачений”.)

Пир сольвычегодских мудрецов продолжался до тех пор, пока они не приканчивали бутылку самогона.

– Всё. Пусто, – говорил Захаров.

– Что? – спрашивал Макар.

– ВСЁ. Чего ни возьми.

– Вот я сижу перед тобой, – уточнял Макар. – И что, я пустое место?

– Да, – отвечал Захаров.

– Я не существую?

– Нет.

– А ты?

– Я тоже.

После чего Макар с Предтечей выходили во двор, усаживались на лавку и пели, крепко обнявшись, песнь о бессмысленности и светоносности жизни.

Как-то Степа привел Макара в дом вдовы Кузаковой познакомить его с одним авторитетом, ссыльным с Кавказа по имени Коба. Когда они зашли в горницу, Макар увидел невысокого чернявого господина, склоненного над огромной картой звездного неба. Коба сразу не заметил гостей, он был так погружен в изучение созвездий и расположение планет, – Степану пришлось кашлянуть, чтобы привлечь внимание постояльца.

– А, товарищ Захаров, проходи, дорогой, гостем будешь, – произнес Коба.

– Это Макар Стожаров, недавно по этапу прибыл, – представил своего спутника Степан.

Коба выпрямился и подал ему руку, небольшую и теплую, вроде как слеplенную из теста для хачапури, вспоминал потом Стожаров, а глаза Кобы показались ему двумя черными дырочками, в которых он узрел что-то опасное, тревожно стало на душе, мутно.

– Не волнуйся, Макар Стожаров, скоро тюрьма падет и придет время Ворона, о котором писал товарищ Зороастр, вот, смотри – Уран переходит из Овна в Тельца, – сказал Коба, подвел его к столу, простер левую руку над картой, потом растопырил пальцы и быстро их сжал, как будто поймал чижа.

– Конstellации неисчислимых, непостижимых, великих звезд – все здесь, и ты, Макар, тоже в этих звездах весь посчитан, – произнес мягким голосом Коба и добавил, обращаясь к ним обоим: – В ночь на пятницу в доме Григорова – собрание. Все наши будут.

Но Захаров не стал дожидаться пятницы.

Явившись утром с проверкой, полицейский надзиратель не обнаружил Захарова на месте: хозяйка сказала, что дома нет ни постояльца, ни его личных вещей. Квартирная плата на столе под салфеткой красноречиво указывала на то, что квартирант выбыл совсем.

Информируя начальника Вологодского ГЖУ, уездный исправник А.В.Бачурихин писал в рапорте об исчезновении: “Сообщаю Вашему высокоблагородию, что состоящий в городе Сольвычегодске под гласным надзором полиции Степан Степанов Захаров бесследно исчез из-под надзора полиции. При том, что за последнее время проживания в г. Сольвычегодске Захаров состоял под усиленным наблюдением с целью недопущения побега, а проверка его наличия производилась не один, а два раза в день. Присовокупляю, – доносил рапортом исправник, – что кроме денег за проживание, беглец оставил письменный документ неясного содержания: *«Макар! Кони взбесились, и их уже не удержать. Понятно, что кони несутся в пропасть. Но мы не знаем, сколько до этой пропасти осталось...»*”

Перед железнодорожным вокзалом Витебска, на Соборной и Ратушной площадях толпился народ, уставившись в небеса. Там, на большой высоте (определить ее, конечно, страшно трудно, большинство утверждали: не ниже версты) четко вырисовывался сигаровидный летательный аппарат, при желании можно было разглядеть корзину, а в ней – пассажиров.

Что за дирижабль, откуда он, куда путь держит, осталось неизвестным.

В публике загадочный полет вызвал много толков: вспоминали, как дня два назад, по телеграфным сообщениям, “таинственный дирижабль” появился над Минском. Те, кто благополучно прошляпил это событие, жадно выпытывали у очевидцев подробности о дирижабле, стараясь понять – не шутка ли это, не газетная утка? Появился летательный аппарат около девяти часов вечера, двигался к мужской Александровской гимназии и скрылся через полчаса в юго-восточном направлении.

Как раз Ботик забежал к Марусе. Он обнимал ее у открытого окна – май, конец мая, липа, белая голубка, шиповник, мешок с овсом, привязанный к голове лошади... Теплый ветер трепал занавеску.

– Слушай, мы непрерывно целовались, – говорил мне Ботик, – мы даже целовались в церкви, за что Марусю чуть не выгнали из гимназии. Нас выручило только то, что ее мама работала учительницей. Была б наша воля, мы только бы любили друг друга, забросив весь этот тягостный мир с его скверными новостями. Нам так хотелось жить, просто жить, от избытка любви мы вообще забыли, что такое зло, куда уж стремиться отвратить неотвратимое! Тем райским летом с золотым платаном и кипарисом в окне мы были настолько связаны друг с другом! Какой нам бросает вызов жизнь, позволив ощутить восторг невыносимой

силы, когда и время уже не время, и пространство не пространство, а эта нетвердая зыбкая почва плывет и шатается у тебя под ногами!

Так они стояли, всё глубже погружаясь в водоворот своей любви, вдруг Ботик замер, как он обычно замирал, когда видел что-то необъяснимое. Маруся обернулась, и они оба воззрились на проплывающий мимо дирижабль.

На кожаном ремешке на стенке висел армейский бинокль отца Маруси, капитана первого ранга, погибшего под японским огнем у острова Цусима. Отличный бинокль, в жестком кофре коричневого с пуговичной петлей и компасом на крышке кофра, с медными заклепками и латунным обводом с инициалами Е.О.Н. – Ефим Оскарович Небесный. Его фотографический портрет размещался над биноклем и сверху пристально и строго посматривал на Ботика. Зато на свою Марусю Ефим Оскарович глядел с портрета ласково, чуть ли не с улыбкой. Да и суровый взгляд его на Борю со временем смягчился и потеплел. Это был добрый, умный, интеллигентный человек, отважный и смекалистый, о нем у нас еще речь впереди.

– Хотя сгущались сумерки, – говорил Ботик, – в хороший полевой бинокль Цейса восьмикратного увеличения я разглядел дирижабль во всех деталях. Отчетливо видны были нижняя часть сигарообразной формы и квадратные окошки. Дирижабль эволюционировал, то поднимаясь, то снижаясь, пока стремительно не съехал вниз, как по ледяной горке, и не скрылся за Гуторовским мостом.

– Если бы такой дирижабль помаячил хоть над малюсеньким германским городком, – спустя полвека удивлялся Ботик, – вся Германия бы переполошилась! Австрийские ищейки бросились бы ловить иноземных шпионов, отследили дирижабль и арестовали пассажиров! А мы знай себе гадали на кофейной гуще, что это было – дирижабль-реклама? зонд метеорологической обсерватории? Кстати, в Витебске под покровом ужасной тайны строился дирижабль. Это каждая собака знала. Но он вечно был в стадии сборки, он и сейчас еще не готов, я уверен.

– Таинственный дирижабль пролетел тогда над нами, – говорил Боря. – Но какая красота, какое могущество, – бормотал он, – завоевать воздух – и во всех отношениях... на все времена... так и остаться недостижимым... даже неоткрытым...

Эта река, дерево, камень, узнаю ли я это место, если снова приду сюда? Эту дощатую эстраду, покрашенную масляной краской песчаного цвета, “ракушку”, где Блюмкин играл на своем неразлучном кларнете и на подержанной трубе, которую отдал ему Биньомин Криворот, да в придачу всучил архаичный корнет, но не насовсем, а на пробу.

Биня импровизировал на всем, что под руку попадет, пел как птица и сочинял музыку как Бах. На звучном тенор-саксофоне с его богатым слегка сумрачным тембром он мог передать полный диапазон чувств – от пика блаженства до пучины страдания. Причем в каждое соло Биня вмещал весь спектр эмоций, не оставляя за бортом ни одной.

В мечтах он видел Йошку рвущим публику в клочья инструменталистом, ибо ни у кого не встречал настолько теплого звучания кларнета, ясной фразировки, чистого ритма. Правда, местами малыш чуть сумбурен, но какие его годы! Деревянные – флейту, гобой – он осваивал с лету. Из медных мальчишке приглянулась валторна, но истинной страстью стала труба. Впрочем, играя на трубе, он слишком раздувал шею, чем доводил Криворот до белого каления: небесная доброта в маэстро уживалась с необузданной вспыльчивостью.

– Нет, вы видали индюка? – орал Криворот. – Раздул шею, значит, перекрыл горло. Дыши, сукин сын, или я задушу тебя собственными руками, как Отелло Дездемону!

К назначенному часу пространство перед эстрадой заполнялось публикой. Жены булочника, извозчика, мясника и грузчика, чинные толстосумы и разные охламоны, а также представители высшего сословия – письмоводитель с тросточкой, городничий штабс-капитан Леонард Иванович Готфрид, бургомистр, коллежский асессор, слегка выпивший уезд-

ный казначей, титулярный советник, словом, все, кого мой прадед Филя обеспечивал кухонной утварью, рассаживались перед эстрадой. Даже сам секретарь городского старосты Елеазар Вениаминович Блюдоху, теплыми вечерами выгуливая почтенную супругу Евну Иоселевну Шапиру, пристраивался посерединке на первом ряду.

– Помню, мы потешались над мучником Нахманом, великаном с длинными седыми усами и шевелюрой, будто обсыпанной мукой, – рассказывал мне Ботик. – Его жена Геня вечно канителится, а после мечется в проходе – ищет Нахмана. Тот ей: “Геня, вот он я, ты ослепла?” “Даже если я ослепла, Нахман, – отвечала бойкая Геня, – я найду тебя по запаху чеснока!”

Шум, гам, смех, завязывалась оживленная беседа о всякой всячине, о делах в синагоге, о мировых вопросах, ну и – разумеется – о войне. В Европе грянула война, такие новости в Витебске разносятся со скоростью света.

– Какой-то Гаврила Принцип, боснийский серб (слава богу, не еврей!) убил австрийского герцога Франца Фердинанда!

– Берите выше! Он был не герцог, а эрцгерцог!

– Так тем более! Вильгельм сразу намекнул австриякам: будете устраивать заваруху – мы вас поддержим.

– Какая-то Сербия! Что за важность!

– Только бы не подожгли Россию и нас вместе с нею!

– Упаси господь!

– Уж твою-то мясную лавочку, Мовша, вряд ли кайзер не приметит!

Все вокруг испускало густой оранжевый свет – и солнечный закат, и листья, и вода, и липы, и серые облака. А когда Иона подносил к губам кларнет, появлялась Асенька. Она садилась на край отдаленной скамейки или стояла, прислонившись к стволу, чувствуя спиной его шершавую поверхность, изредка поглядывая на Иону влюбленными глазами.

Ботик точно не помнил, что такого играл тогда его приятель, какой-то паштет из еврейских песенок, но всем казалось, не только Асеньке, у них крылья вырастают и они кружат в воздухе вольными птицами.

Там еще был смешной аккомпаниатор – слепой аккордеонист Миха Трещалов, ему поставили стул в шести шагах, Миха отсчитал шесть шагов, да не рассчитал и сел мимо стула. Это очень позабавило публику. А он парень озорной, веселый, как пошел наяривать “Уральскую плясовую”.

– Хоть вы и евреи, – кричит, – а все равно не удержитесь – кинетесь в пляс!

Третий – балалаечник Ури. У этого был конек – “Рапсодия” Листа. Когда Уриэль исполнял ее на балалайке, плакали даже темные личности без определенных занятий.

А уж к разогретой публике при полном аншлаге являлся в сиянье славы непревзойденный Биньомин Криворот в благородно поношенном фраке, более или менее белой манишке с бабочкой и выдавшей как упоительные, так и безотрадные виды черной широкополой шляпе. Сам этот молчаливый выход маэстро уже звучал музыкой в ушах благодарных посетителей Городского сада.

Как Биньомин царил на сцене с саксофоном в бледных чутких руках с голубыми прожилками, кумир Витебска, слегка покачиваясь в такт пронзительной, печальной, потусторонней увертюре той самой трубы, которую с неслыханной щедростью презентовал Йошке Блюмкину, за что Йошка обязан ему по гроб жизни!

Что ж, мальчик дул в нее безоглядно, самозабвенно, стараясь не напрягать шею и создавая атмосферу глубокой меланхолии. Звук медной трубы, приглушенной сурдинкой, медленно затухал... Вдруг – бах-ба-бах! – резкий взрыв – громогласные фанфары, производимые Ури на балалайке и Михой Трещаловым на аккордеоне.

А из этой какофонии в недрах ракушки рождался и нарастал невыразимо прекрасный звук тенор-саксофона – грустный и величественный, устремленный ввысь, в таинственную бесконечность.

– К тому же Биньомин чарующе пел, – говорил мне Ботик. – Особенно одну песню я никогда не забуду, он распевал ее сипловатым голосом на идише, но лет пятнадцать спустя мне посчастливилось услышать то же самое в Нью-Йорке на Манхэттене – от черного немого музыканта на углу 44-й, тот играл на покоцанной золоченой трубе. Я спросил, как его зовут, но он только улыбнулся белыми зубами. Если б я смог, я тебе напел, и ты сразу бы ее узнала:

Целуй меня быстрее, пока мы что-то чувствуем,
Обними меня крепче и не отпускай.
Ведь неизвестно, что будет завтра.
Любовь может улететь, оставив только боль.
Целуй меня быстрее, ведь я так тебя люблю!

Вот фотоальбом, распавшийся на отдельные листы из плотной черной бумаги, бумага тает, кусочки ее осыпают стол, как черный пепел, такая эта бумага старая. Да и сама жизнь Ботика распадается на отдельные эпизоды, никак их не связать воедино.

История гласит, что наш Ботик в своих зарубежных командировках торговал пушной и текстилем, а также промышлял закупками оборудования для советских фабрик. Вероятно, он оставался при службе, никто не отобрал его парабеллум, красная корочка лежала в шкатулке на бюро. Но Советской Республике позарез нужны были краны, машины, станки, начиналась эпоха индустриализации. И нашего Ботика партия призвала на это архиважное дело, скорей всего, совершенно секретное, поэтому о его пребывании в Соединенных Штатах история умалчивает.

Все-таки уму непостижимо – как жокей и конный акробат, потом – чоновец, воевавший с прибайкальскими кулаками-партизанами, в одночасье сделался элегантным джентльменом в длинном твидовом пальто, высокой шляпе с подхватом и в начищенных штиблетах. Что ж, если ты начал цирковым, то в дальнейшем сможешь обернуться хоть папой римским!

Даже Блюмкин узнал друга не сразу, когда Боря спокойно и неторопливо приблизился к нему, будто бы просто попросить автограф у артиста, хотя в душе творилось чёрт-те что! В зале гвалт стоял – страшный, рассказывал потом Ботик, и какой-то старикашечка сухонький, пейсатый, в длиннополом кафтане, эмигрант, видимо, из наших мест, словно почуял земляка и все кричал мне в самое ухо:

– Слушайте, это поразительно: еврейчик – и так спелся с этими ниггерами!

Любимая женщина Блюмкина, Дот Сламмин Белл, руководитель военного духового оркестра, тоже чернокожая, *мэйдэл*² Иона звал свою любимую женщину, Ботик ее не видел, но можно себе представить!

И хотя в оркестре знойной Сламмин Белл бряцали сплошь молодцеватые brave парни, готовые ради улыбки Дороти перевернуть мир, она очертя голову влюбилась в Иону. Ступив на американский континент, он несколько месяцев трубил с этими вояками, сводя с ума дирижера. Ей нравилось, что, в отличие от ее *файтеров*, Джеймс играл на трубе так же плавно и грациозно, как на скрипке.

Годы в Америке оставили в альбоме лишь зеленоватую открытку с изображением Ниагарского водопада и триумфальный Борин портрет, мы называем его: “Эмпайр-Стейт-Билдинг на фоне Ботика”.

² Девочка (*идиш*).

Зато оба путешествия на пароходах в Америку и обратно запечатлены обширно и обстоятельно. Особенно возвращение домой на борту сверкающей трансатлантической “Европы”, награжденной в 1930 году Голубой лентой за самый быстрый переход “пруда” (27,6 узла в час!).

На одной из фотографий черного альбома интернациональная компания пассажиров “Европы” дружно сдвинула кружки пива. Под потолком заполаскивают гирлянды бело-голубых баварских флажков, у плаката с черным козлом и надписью “Munchener Bockbier” стоят Ботик с Ангелиной, на ней плоская сине-желтая шапочка с козырьком. Дети уже спят, а взрослые празднуют Октоберфест.

Путь они держали в Москву, захватив с собой из Америки ни много ни мало автомобиль “Форд”, холодильник, чемодан одежды, складную елку и много чего по мелочи, накопили добра. Среди их бесценного багажа царила радиола, и, видит бог, она заслужила, чтобы мы рассказали вкратце ее удивительную биографию.

Возможно, это был первый многоканальный приемник в Советском Союзе. И для Америки, скорей всего, он был тоже редкостью. А главное, это непостижимое устройство венчал граммофон. Над радиолой приподнималась коричневая столешница, похожая на крышку рояля, и в углублении, выстеленном черным бархатом, словно жемчужина в темной раковине, таился проигрыватель. Там же имелось место для пластинок. Ты их выстраивал в определенном порядке, и они автоматически друг за другом по мере проигрывания ложились на вертушку. Да еще сами переворачивались с боку на бок без всякого человеческого вмешательства! Конечно, это было для всех в диковинку.

По субботам к ним гости приходили, усаживались за стол, потом начинались танцы. Боря поднабрался там, за границей: танго, шимми, тустеп и прочее, но коньком у него был медленный фокстрот – все просто заходились от восторга, когда он двигался с какой-нибудь нескладной тетушкой по комнате скользящим длинным шагом.

Утром двадцать второго июня 1941 года Ботик слушал немецкую волну, угрюмо ходил из угла в угол.

– Сейчас вы такое услышите! – он повторял. – Сейчас вы такое услышите...

– Что? Что?! – спрашивала его Асенька.

Ближе к полудню Молотов объявил о войне.

– И мы почему-то пошли на станцию, – рассказывала потом Ася. – Магазин был закрыт, на двери висел замок, а под замком сидел мужчина и твердил как заклинание: “черняшка” сделает все, “черняшка” спасет всех...

Многие годы радиола прекрасно работала, за исключением пяти военных лет, когда из нее вынули механизм, Гера точно не помнил, что там было, в общем, всё из нее вынули и отвезли в Мытищи, чтобы не слушали разные провокационные сообщения вражеских голосов, снижающих наш боевой советский дух. А через пять лет с грехом пополам отдали.

И снова на волне Вены звучал Штраус, музыка делала неразделимым тебя с темнотой неба и шумом сосен за окном. Но если с ней что-то случалось, то очень трудно было найти мастера, никто не разбирался в ее устройстве. Пока Ботику не порекомендовали одного молодого человека, Всеволод его звали, он жил в маленьком домике на станции Валентиновка, в скромной семье. (“Мы-то были пижоны...” – Гера добавлял.) Сева приходил, чинил их заморскую радиолу и всегда отказывался от денег за ремонт. Он так и сказал им: “Больше чтобы не возникал разговор о деньгах, но всегда меня зовите, если что!” Он просто получал удовольствие от соприкосновения с этим инопланетным аппаратом.

После войны Сева окончил авиационный институт и стал крупнейшим специалистом по космическим двигателям и гидромеханике планетных атмосфер, лауреатом Ленинской и

Государственных премий, заместителем главного конструктора ОКБ Королева – академик Авдудевский Всеволод Сергеевич, может, кто-то слышал...

– Вот мы всегда очень удивлялись, – говорит Гера, – как он – придет и все починит...

Отмотав срок в Сольвычегодске, Макар был освобожден от надзора полиции и по “проходному свидетельству” на пароходе отправлен в Вологду в распоряжение вологодского уездного воинского начальника. Поскольку прямого пароходного сообщения между Сольвычегодском и Вологдой не существовало, сперва надо было добраться до Котласа.

Между Сольвычегодском и Котласом два раза в день курсировал пароход, в тетрадке у Макара не сказано, во сколько именно. Зато есть подробности движения парохода “Котлас – Вологда”.

“В 00:00 из Котласа, – записывает Макар простым карандашом, – 6 раз в неделю (кроме ночи со среды на четверг) – рейс на Вологду с заходом в Великий Устюг и Тотьму (имена городов подчеркнуты). Всего до Вологды – 2,5 суток”.

Неясно, какая у него шевельнулась извилина, когда он подчеркивал эти городки. Не вознамерился ли Макар сбежать, причалив к одной из пристаней? Хотя в “проходном свидетельстве” ясно сказано: Стожаров не имеет права отклоняться от указанного ему маршрута и по сему свидетельству не может проживать нигде, кроме г. Вологды, а по приезде в этот город обязан не позднее 24 часов со времени своего приезда лично представить “проходное свидетельство” полиции.

Дальше запись в тетрадке Макара такая: “Ноч. из Вологды в Москву – поезд № 5 в 1 ч. 17 мин. В Москве – 19 ч. 55 мин.”.

Следующий по хронологии документ – копия письма Стожарова из Тулы, приложенная к документам жандармского управления:

“Дорогой Володя. Хотя ты и обиделся, что я, уезжая, не зашел к тебе, но беру небеса в свидетели, не имел никакой “сифилитической” возможности, так выражался один присяжный заседатель в своей речи во время суда, желая сказать, по-видимому, “физической”. Не знаю, понравилось бы тебе, если б я привел, сам того не подозревая, к твоей хибарке “хвоста”. Помнишь, когда мы шли и ты говорил про любовь свою около Курского, то обратил внимание на одного человечиска, говоря: прицепился. Ты угадал. Я его видал около своего дома два раза.

Бездельничаю, читать нечего, “Правды” не вижу. Выходит тут “Тульская молва”, но пустая газета.

Привет всем знакомым, крепко жму руку. Макар Стожаров”.

Копия заверена:

“С подлинным верно.

Отдельного корпуса жандармов

ротмистр Колоколов.

17 июля 1914 г.”.

Письмо было перехвачено на почте. Макара арестовали, возвратили в Вологду, забрили макушку, в скотовозе отправили в Рыбинск, в Гороховский полк, куда его сдали поднадзорным солдатом в дисциплинарную пятую роту, и, поминай как звали, в Восточную Пруссию на передовые начавшейся Мировой войны.

Прибыв на место дислокации, Макар немедленно двинул в наступление в составе Второй русской армии Северо-Западного фронта: от Ковно шла Неманская армия под командованием генерала Ренненкампа, а из междуречья Нарева и Вислы – Наревская армия, в том числе пехотный полк с политссылным запевалой из пятой дисциплинарной роты Стожаровым под командованием генерала Самсонова.

Самого генерала Макар не видел, поговаривали, что старикан еще гусаром в Турецкую пашкой махал. У рядового Стожарова был свой командир – штабс-капитан Семечкин, злой как пес, гнал солдат вперед, пугая тараканьими усами.

По плану, о котором Стожарову, разумеется, никто не докладывал, Наревская армия должна была с юга зайти в тыл врага, отступавшего под натиском Ренненкамппа Пал Карлыча, отрезать германцев от Вислы и, взяв в клещи, молотом по наковальне прихлопнуть у Мазурских озер.

Собственно, все к тому и шло, если бы командующий фронтом не дал маху – сразу после провала операции его сместили как патологически непригодного воеводу, сбрендившего в разгар кампании. Им овладела навязчивая идея, что немцы без боя оставят Пруссию, а русские не успеют всыпать им в хвост и в гриву. Поэтому недолго думая он притормозил Ренненкамппа, зато Самсонова погнал на север во весь опор. Тот в свою очередь подстегивал командиров корпусов, а уж комкоры понукали солдат, которые сутками тащились по жаре, выбиваясь из сил, без привалов, без хлеба, без снарядов, все дальше отрываясь от тыла, пока эта связь не оборвалась. Ладно, хотя бы перед наступлением их накормили гороховой похлебкой и напоили черным чаем с сахаром.

Впереди Второй армии тоже ничего не светило: Германия подготовилась к вторжению. Съестные припасы вывезены до последней крошки, в городке Нейденбурге, который вообще-то приглянулся Макару, немцы, отступая, пустили “красного петуха”. Вместе с другими “штрафниками” Стожаров сутки тушил горевшие магазины и продовольственные склады, за что Семечкин пообещал, если кто-то из них останется в живых, представить героев к награде.

К тому же в день, когда наш Макар пересек южную границу Восточной Пруссии – двадцать первого августа 1914 года, – произошло солнечное затмение, о чем рядовых и унтер-офицеров заблаговременно предупреждали, детально разъясняя суть этого космического явления. (Что интересно, лунная тень прошла по местам всех грядущих боев Первой мировой войны!) Но солдаты посчитали это дурным предзнаменованием.

Макара не пугали суеверия, в Лиге самообразования ему особенно были по душе доклады о космосе, о вечности, о возможности достижения других планет и о бессмертии. В “личном деле” под номером 641 в графе “Если имеете желание учиться, то чему именно: (грамоте, наукам, искусствам, ремеслам)?” Стожаров ответил: “Математике”.

Жажда знаний его была неутолима.

В массе своей пролетарии мигом начинали клевать носом, когда темой бесед становились воскрешение и другие тайны бытия и небытия. А Макар – нет, его мучительно волновал вопрос: неужели Вселенная умрет, и всё, что останется, – это холодное пространство? И когда это будет? Еще не скоро? Или в любой момент? Так что он поднял с земли закопченное стекло, их много валялось вокруг после пожарищ, и с интересом наблюдал за лунным диском, наплывающим на солнце, пока не запылало огненное кольцо короны и на всю Наревскую армию, как коршун, пала тень.

Макар, конечно, понятия не имел, в какую угодил передрыгу. Нет, он подозревал: ничем хорошим это не кончится, но не до такой же степени! Откуда было знать, что его вот-вот закрутит в водовороте одной из самых безнадежных военных затей времен и народов. Он топал и топал, по щиколотку увязая в песке, весь красный, вспотевший, с берданкой, в накиннутых на спину мешке и палатке. Стожаров шел сам, и других подбадривал, и, как всегда, верил в свою счастливую звезду.

После короткой схватки у деревень Орлау и Франкенау севернее Нейденбурга передовые части Самсонова под изрешеченным Георгиевским знаменем аж 1812 года победоносно отбросили германский корпус. Если чуть подробнее, там было форменное светопреставле-

ние; пока-то враг бежал, бросая орудия, а русские преследовали его без передышки, оставив на поле боя две тысячи павших.

Потом как-то все пошло не так, зарядили дожди, дороги под ногами превратились в болото, деревни опустели, в подвалах – ни клубня картошки, все, что могло, сгорело, дохлый скот кругом, вонь стоит, антисанитария.

Вымокшие, голодные, полуживые от усталости, который день не снимавшие сапог, подгоняемые генералами, скользили по грязи солдаты – тянулись за немцами по Восточной Пруссии в надежде на победу, а на самом деле шли на погибель. И с ними дед мой, Макар Стожаров, шагал с закрытыми глазами, попевал “соловья-пташечку”, чтобы не заснуть на ходу, – в самой сердцевине Истории, испытывая ее на себе, не постигая смысла, не ведая сюжета, он только знал о своей сущности, о своей конечности.

В нестройной их толпе, далеко растянувшись, лошади тащили возы с поклажей, ружьями, пушками, и этот поток растворялся в тумане, конца-края ему было не видеть.

К ночи после короткой перестрелки рота Макара заняла лесок на взгорочке, наспех окопались, съели последние крошки, что нашли на дне мешка. Рядом с Макаром рыл окоп молодой Тимофей Скворцов, призванный из Волынской губернии. “Несознательный крестьянский элемент”, – называл Макар Тимофея прямо в ясные голубые глаза.

А тот ему отвечал:

– Вот ты рабочий из города, из самой Москвы, я тебя не очень разумею, но уважаю, Макар Макарыч.

По отчеству звал, хотя и были они одногодки.

Макар ему всю дорогу объяснял, кому нужна эта война, кто такие пролетариат и буржуазия, кто наживается на том, что они тут грязь месят сапогами, пушечное мясо, предназначенное в пасть Молоху. Что в организме человека существует три светлых души, которые после смерти поднимаются на небо, и семь темных душ, которые уходят в землю. А главное, что, разбивая все надежды на спасение, ты становишься бесстрашным. А может, и бессмертным, он точно не знает.

Стожаров до такой степени повысил уровень самосознательности Скворцова, что тот уж и не чаял, как бы ему поскорее разделаться с этой, как говорил Макар, “мировой бойней”, чтобы включиться в рабоче-крестьянскую революцию.

Под мелким дождем в темноте и в лесной сырости они заснули, хотя был приказ поддерживать огонь. Утром стали стрелять со всех сторон, горстки людей побежали по полю, то припадая, то поднимаясь, и снова падали, прижатые к земле немецким огнем.

Макар с Тимофеем, оглушенные, хлестали из винтовки в дождевую муть. Врага не видно, только огонь тысяч винтовок, пулеметов и артиллерии. Части редели, убитые лежали рядами, меж орудий взрывались снаряды столбами огня, дыма и пыли. И над этим кипящим котлом парил немецкий аэроплан с крестами.

Чиркнуло в небе, пуля разбила камешек, отлетела в сторону окопа и угодила Макару в ногу, пробив ее насквозь ниже колена. Обмотки окрасились кровью, Макар распоясался и, преодолевая боль, наложил выше раны жгут.

– Тимофей, – окликнул он Скворцова, – давай зови санитаров, меня ранило.

Но из соседнего окопа никто не откликнулся.

Скворцов-то мой усвистел, подумал Макар. Он лежал на дне окопа и смотрел в небо. То тут, то там вспыхивали белые взрывы шрапнели, а звук разрывов долетал до него из глубины земли, как через вату. Поплыл дирижабль, заслонив солнце, Макар закрыл глаза и провалился в сон. Разбудили его немецкие слова:

– Эй, русский, вылезай, конец тебе, – понял Макар, так как знал немного этот язык по тюремному университету.

Два немца согнулись над ним, наставив винтовки.

Макар им ответил:

– Tut mir leid, ich bin verwundet – извините, не могу, ранен.

Немцы, удивившись немецкой речи, вытащили его из окопа и положили на траву рядом с Тимофеем Скворцовым. Его молодой друг и подопечный лежал тихо и смотрел, не мигая, вверх, пуля попала ему в голову и убила наповал.

– Эх, вот и меня могло бы убить, а ведь только ранило в ногу. Упокой его душу, – сказал Макар и стал ждать своей участи.

Через пару часов его погрузили на телегу и повезли в тыл немецкой армии.

– Ничего подобного, – возражала Стеша. – Папка никогда не был в плену. Их вывел из окружения доблестный Семечкин.

Стеша считала, все было по-другому: да, воины центрального тринадцатого корпуса, сверкая штыками, лихо продвигались вперед, благополучно миновали район Танненберга, с боем взяли Хохенштайн, хотя артиллерия запаздывала, из пехотных частей неслись отчаянные радиogramмы: “Артиллерию на позиции!” Телефонной связи русские командармы не имели, приказы и донесения передавали по радио, не шифруя, немецкие генералы получали их одновременно с адресатами.

Триста тысяч солдат накатывали друг на друга, сцепившись, расходились и снова сталкивались в бою, стреляли, напивались, если им везло и они занимали деревню, или закапывались в траншеи, когда наступала ночь.

Огромная армия Ренненкампа висела, как грозовая туча, на северо-востоке. Стоило ему шевельнуться, и немцы были бы разбиты наголову. Но туча не разразилась грозой. Барон Ренненкампф, генерал-адъютант Николая II, кавалер двух Георгиевских крестов, когда-то отличившийся на Китайской войне и на Японской, – бездействовал. Мало того: он повернул свою армию к Кёнигсбергу. Орденоносный Пал Карлыч не только не шел на сближение с Самсоновым, но от него отдалялся.

Сотня тысяч ратников генерала Самсонова растянулись на необозримой линии фронта и дрейфовали без руля и без ветрил. Так что германцы безнаказанно смяли оголенные русские фланги, обогнули центральные корпуса и зашли им в тыл. Но командарма никто об этом не известил. В ушах у него грохотали барабаны, пели горны и литавры, заглушая лязг оружия. Он безоглядно рвался вперед и вел свою армию на гибель.

Последовали немецкие атаки, русские контратаки. После неудавшегося плана окружения *всей* армии Самсонова германцы стягивали кольцо вокруг центральных корпусов, зарвавшись в направлении Алленштейн – Остероде.

Среди окруженных “зарвавшихся” был мой дед Макар, Стешин “папка”.

В ночь на двадцать девятое августа Самсонов почуял запах катастрофы. Под натиском превосходящих сил противника он приказал отступать, но в его тылу уже трещали вражеские пулеметы. Русские отходили, огрызаясь огнем, сдерживая атаки немцев, отбрасывая их штыками. Два корпуса центра, которые сражались дольше и лучше всех, отступали последними и почти полностью пали жертвой германского обхода.

Потрясенный тем, что победоносный марш в сердце Германии обернулся сокрушительным поражением, генерал Самсонов застрелился в березовой роще у Вилленбурга.

Колонну, пробивавшуюся из вражеского окружения, возглавил генерал Клюев. Они пошли через пахнущий прелой листвой Комусинский лес, топча грибы, огибая муравейники, закрепились у реки.

Около пяти утра появились немецкие бригады. Плотные цепи неприятеля наши встретили картечным, пулеметным и ружейным огнем. Стреляли друг в друга в упор. Немецкая пехота не выдержала и, бросив орудия, обратилась в бегство, оставляя раненых и убитых.

В ночь на тридцатое августа отступавшие части русских внезапно ослепил луч прожектора. По приказу штабс-капитана Семечкина Макар и еще несколько штрафников выкачали два тяжелых пулемета и, когда вновь зашарил по росяной траве прожектор, стали долбить врага ураганным огнем.

Убитых было не менее, чем спасшихся. Стреляли, пока не кончились снаряды. Едва угас огонь, встали из черного дыма Стожаров Макар с Тимофеем Скворцовым, крестьянским пареньком с прозрачными голубыми глазами, Макар звал его “лапотник” – за то, что он и слыхом не слыхивал о грядущей рабоче-крестьянской революции, а тот почтительно именовал друга, хотя был его одноклассником, по имени-отчеству: Макар Макарыч. В атаку поднялись и другие оставшиеся в живых солдаты – с ног до головы в саже, ополоумевшие от непрерывного марша с боями, от бессонных ночей, они шли напролом, как медведи сквозь бурелом, и, конечно, вид имели устрашающий.

– Давай сюда, – орал Стожаров, – немецкий дьявол, злодей-кровопийца!! Я те башку откушу и каской закушу!

И снова враг бежал в панике, охваченный сомнениями в своей победе. И эту панику сеяла отступавшая, не поеная, не кормленая, полностью разгромленная, истребленная армия.

На подкрепление ландверским бригадам немцы бросили гарнизонную артиллерию: около двух сотен легких и тяжелых пушек, которые разом принялись палить со всех сторон. Казалось, растаявший тринадцатый корпус Ключева вместе с землей приподнят в воздух. Сама земная твердь горела под ногами, лишая всех остатков разума. На это русские отвечали редкими случайными выстрелами – отзываться на огонь противника было нечем.

Перед последней цепью германских пулеметов железный генерал Ключев дрогнул: он вынул из кармана кителя ослепительно белый платок и приказал своему ординарцу ехать к немцам с вестью о капитуляции. Двадцать тысяч русских солдат сдались неранеными по приказу Ключева.

Лишь отважный штабс-капитан Семечкин плюнул на генерала. И велел своим пробираться в лес за Мазурские озера.

– Сдурел, старый хрен, да мы сами с усами! – штабс-капитан Семечкин особо отличался по части ругательств. Чуть что – брызжет во все стороны ядовитой слюной.

На что он надеялся? Только на чудо, на каких-то ангелов, которые сумеют спасти его людей, вынесут на своих крыльях из этого месива, неразберихи и сумятицы и доставят в целости домой.

Доверившись кормчему, Макар закинул на плечи пустой мешок, тяжелую винтовку и побежал. Главное петлять, перебегать от сосны к сосне, пригибаясь к земле, выбирая тропки, заросшие травой, продираться сквозь колючие кустарники. Тикать отсюда, да и зачем ему эта Восточная Пруссия, погода дрянь, в деревнях – шаром покати. Единственное, что согревало душу, – огромные буки и грабы.

Макар в жизни не видал таких деревьев. Один старый бук шатром мог укрыть от дождя роту солдат, а то и целый взвод! Густыми кронами они уходили в облака, шумели на ветру, подобно морскому прибою, надували паруса. Звери и птицы попрятались от грохота снарядов: ни белки, ни барсука, даже олени водились в прусских лесах, да четверо суток не смолкала канонада. Макар за все время встретил одну полевку, которая грызла орешек, выковыряв его из колючей плюски. Он подобрал колючку, вытряхнул из нее орех и стал жадно грызть. Но от сырых буковых орехов у солдат разболелись животы. Тогда Тимофей, этакий молодец, придумал жарить орехи на углях в котелке.

Осоловелые существа, слившись с цветом пыли, подавали такие скудные признаки жизни, что можно было принять их за призраков. Они дремали в укрытии – то ли ожидая

архангеловой трубы, то ли собираясь с силами, чтобы исчезнуть за плотной завесой дыма и тумана, раствориться во мгле Мазурских озер и болот.

Блиндаж был вырыт на скате лесистого холма. У подножья его дугой загибалась дорога, по ней двигались колонны пленных, конвоируемых в тыл. А на той стороне озера в травяном болоте виднелась изломанная линия окопов, где сидели немцы.

– А ну подъем! – сипло скомандовал Семечкин, простуженный, больной, он весь горел, как в лихорадке. – Бежим отсюда, ребята, не то нам тут амбец!

Макара не надо было упрашивать, краткий сон подкрепил его силы.

– За царя-батюшку – за блинами к матушке! – закричал Стожаров и побежал.

– Смотрите на этого неуставного, за ним – вперед! – приказал солдатам Семечкин.

Вода еще вскипала в озерах, снаряды били по переправам и холмам. Но бой уже кончился. Сухопарую фигуру Макара заметили немцы на том берегу и стали прицельно палить. Пули свистали близко, Макар завихлял, как заяц-русак, прыгнул за пень, но все-таки пуля его догнала и больно ударила в голень. Под грохот перестрелки Макар сполз в овраг, там Тимофей Скворцов порвал свою рубаху, перевязал друга и отволоч на шинели в лесок.

Потом рота тихо прошла мимо озер, вытаскивая из окружения на самодельных носилках раненого олимпийца. Макар подбадривал своих спасителей, в минуты просветления пел им частушки.

Пройдя через лес, примыкавший к железной дороге, Семечкин и его солдаты добрались до городка Нилленбурга в десяти километрах от русской границы и в темноте побрели по вязкому болоту, взявшись за руки, чтобы не потеряться.

Когда небо стало светлеть, увидели тени черных лошадей, стоящих в тумане на краю поля. Семечкин велел замереть и вжаться в землю, а сам пополз к костровищу: вокруг огня – будто каменные изваяния – застыли фигуры людей.

Через некоторое время из тумана донесся крик штабс-капитана:

– Эй, все сюда, здесь наши!

И эхо ответило ему: “Наши, наши...”

Это был пограничный казачий патруль.

Штабс-капитан Семечкин выстроил рядом уставших до смерти, ободранных, покалеченных солдат, чтобы поименно сосчитать вызволенных им из окружения, вышел к ним в середину, расшепери свои усы, раздул зло жабры, открыл рот, но ничего не сказал, только заплакал, махнул рукой, подошел к Макару, склонился над ним, обнял за плечи. И каждого потом обнял, не стыдясь слез.

Тимофей Скворцов не отходил от своего друга Макара, приносил ему каши в котелке, дул на чай, чтобы раненый ненароком не ошпарился. А когда пришла пора отправляться дальше в тыл, погрузил Стожарова на подводу, укрыв рогожей, приговаривая:

– Давай, Макар Макарыч, выздоравливай, нога должна быть исправной, чтобы шагал ты вперед, а я за тобой пойду революцию вершить.

И долго махал рукой, пока неясными не стали его очертания и он растаял вдали, как мираж.

И все же откуда я это выудила, из каких закоулков памяти – что его везут на подводе, с лицом, запрокинутым вверх, через деревни и леса, между озерами, по полям, по дорогам, в крошечную неизвестность. Их трое лежало в телеге, один при смерти, другой ранен в голову, ничего не понимал, что происходит, все вспоминал, как они жили хорошо под Самарой, и Макар.

Сотню тысяч людей гнали в плен конвоиры. Кормить не кормили. Солдаты выкапывали в полях и ели сырую картошку, брюкву и кормовую свеклу, за что получали удар прикладом, а то и пулю в затылок. Поскольку Макар выжил, кто рисковал ради него? Кто там с ним, раненым, возился?

Пленные наскоро сооружали себе в чистом поле холодные бараки с земляным полом, промерзавшие насквозь. Рыли окопы, ставили проволочные заграждения, строили железные дороги и мосты, обслуживали немцев на передовой – за полфунта хлеба и мучную болтушку на ужин. А что наш Макар? Лечился в лазарете? И лучшие светила медицины Германии с Австро-Венгрией съезжались на консилиум?

“Голод, холод, все мысли о жратве, не жизнь там, в плену, а сплошное паскудство”, – написано у Макара в тетрадке убористым почерком.

На лагерном жаргоне побег назывался “полетом”, сбежавшие – “летчики”. Ночью подлезть под проволочный забор, не так уж он бдительно и охранялся, нырнуть в спасительную пустоту, а дальше – страдания побеждая подвигами, с кучей невзгод и приключений пробираться через всю страну до линии фронта.

Неведомая местность, незнание языка и лагерные лохмотья обрекали это предприятие на провал. Пока-то справишь амуницию, тебя сто раз арестуют. Беглых ловили полевые жандармы. Так что день-два в свободном полете – и вынужденная посадка. Тем более пуля Стожарову попала в икру, задела кость, далеко не убежишь.

Тогда откуда у нашего Макара медаль за побег из плена? По инициативе Главного управления Генерального штаба приняли закон: *“что в видах справедливости представляется необходимым награждать Георгиевской медалью 4-й степени за смелый побег из плена всех нижних чинов, в отношении коих установлено, что они сдались в плен благодаря сложившимся обстоятельствам, а не умышленно”*.

Вернее всего, наш старик обладал способностью извлекать живительную сущность из воздуха и пространства, достаточную для того, чтобы какое-то время поддерживать в теле жизнь.

Так и слышу:

– Ну что? Убег? Германца вокруг пальца обвел? Как тебя, каторжника, сукиного сына, да еще раненого, на границе не сцапали?

– А я ползком, ползком – брюхо до самой требухи протер...

Не зря Макар любил повторять: “Куда конь с копытом, туда и рак с клешней!” Что органично вписывается в излучины стожаровской одиссеи.

Увы, на сей счет никаких конкретных сведений, кроме заметки на полях об игре в крокет перед баракom и уксусном вине в немецком плену, а также обобщающего пассажа о Первой мировой, найденного в записной книжке Стожарова более позднего периода:

“Ты чувствуешь, как тебя засасывает стихия, неподвластная рассудку, не имеющая хотя бы малейшего здравого смысла, как будто всем командует пьяный в стельку забулдыга или злыдень без головы, размахивающий шашкой, хрясь! – и ты на том свете, – вот что такое История”, – заключает Макар.

Не знаю, возможно, нам только кажется, что есть какая-то логика жизни и поступательный ход событий, закономерность и так далее, а все это в конечном счете только чудится происходящим? Возможно, оно просто возникает перед глазами, реальное и нереальное одновременно, а жизнь – плод людского воображения?

Вряд ли нам суждено понять такие вещи. Уставя брады свои, будешь голову ломать, а толку все равно никакого. Не въехать нашему брату в природу бытия, непостижимая это штука, так стоит ли задаваться подобными вопросами?

– Господи боже мой, – сказал мне однажды Ботик, – если ты спросишь меня, где находится счастье этого мира, я отвечу не раздумывая: родительский дом с трубой, с орехом и шелковицей у окна, как мне хочется увидеть его, хотя бы во сне, чтоб, ты только не смейся, просто поцеловать печь, и косяки, и стены, и вдохнуть аромат жареного лука с тимьяном, луковый запах моего детства!

Дора научила Ларочку готовить луковый мармелад. Там была одна заковыка: почистить и довольно мелко порезать чуть не пуд репчатого лука! Ларочка умывалась луковыми слезами, пока многоопытная Дора не одарила ее драгоценным советом: луковицы, как есть, в шелухе, слегка поварить на огне, глядишь, обойдется и без горючих слез.

Ларочка ставила на печь сковороду, лила туда масло, кидала тимьян, лавровый лист, сверху сыпала гору красного лука и помешивала, чтобы он немного подрумянился, “учти, если подгорит, – предупреждала Дора Ларочку, – получится полное фиаско!”, потом добавляла лимонный сок, мед, сахар, перец, щепотку соли, кусочки лимонной кожуры, накрывала крышкой и томила в печи.

О, какое благоухание разносилось по всей округе, какой букет! Каждая щелочка в доме была пропитана этим запахом, каждая трещинка!

Неистребимый луковый дух просачивался к Филе в мастерскую, оседая в молочных кувшинах, горшках и кружках, наполняя их до краев и выплескиваясь на улицу, заползая во все ложбинки, бреши и проточки, лазейки и просветы ближайших домов, ныряя в скрипичные деки Зюси, гобой, валторну и трубу Ионы, намертво въедаясь в занавески, одежду и Дорино шитье.

Запах карамельного лука дразнил, щекотал ноздри, привлекая всю округу. Иона был тут как тут, домой бежала Асенька откуда ни возьмись, опускалась на грешную землю Маруся Небесная. Вот они сидели и ждали, пока там всё сплавится, загустеет, маленько остынет, у всех уже слюнки текли. Наконец Лара приподнимала тяжелую крышку, и они запускали ложки в эти нектар и амброзию, лакомство богов.

В любом случае тут не обошлось без провидения, перста судьбы, тем более Макар был натурой импульсивной, холерической, я бы даже сказала, бесноватой. Стеша намекала, но ее намеки были неясны и туманны, что этот семижилый безбожник пытался добраться до корня сознания, как света за пределами ума.

Немудрено, если он в Комусинском лесу прорвался из окружения со штабс-капитаном Семечкиным и – одновременно – загремел в немецкий плен. Мы обсуждали это со Стешей, подобную вероятность она не исключала. Стеша своими глазами видела, как он выходил из двух разных комнат. Она стояла в прихожей, вдруг открываются двери – у старика была квартира на станции Кратово в поселке старых большевиков и – фокус-покус: Макар одновременно выходит из каждой.

Я тоже была свидетелем раздвоения Макара, правда, почти в младенческом возрасте. У деда был дом в Юрмале, он шел по сосновому бору, а я бежала ему навстречу, когда увидела еще одного Макара, точь-в-точь такого же. Второй неподвижно сидел на краю дороги. Внезапно тот, что сидел, – исчез, и меня подхватил на руки “оставшийся”.

Стеша давно хотела разобраться с феноменом расщепления Макара. И страшно обрадовалась, когда квантовые физики, она где-то прочитала, открыли, что элементарная частица, которая у тебя перед носом, в одно и то же время способна обитать в удаленной точке мироздания, – некий закон симметрии, как она поняла, отражающий – если не всё без разбору, то уж, во всяком случае, нечто примечательное.

Стеша написала письмо знакомому физику, профессору Курдюкову.

“Нельзя ли использовать это открытие, – спросила она, – для объяснения того факта, что исход одного и того же сражения в Первой мировой войне для моего отца получился неодинаковый. Я пишу о нем книгу и хочу знать: казус его раздвоения – иллюзия или реальность?”

Вскоре ей пришло письмо. Профессор Курдюков отвечал буквально следующее:

“В человеческой психике наверняка и не то бывает. А вот в действительности – нет, нет и нет. По крайней мере, с большими и тяжелыми объектами вроде людей. Так называемый

«туннельный эффект» на людях еще никто не наблюдал (слишком большой потенциальный барьер, нарушение когерентности etc.).

Квантовая физика, на которую вы ссылаетесь, при переходе от маленьких и легких объектов (вроде электрона) к большим и тяжелым (вроде человека) плавно превращается в классическую, где «и того, и другого одновременно» не бывает. Боюсь, описать упомянутое вами явление можете только вы. А квантовая физика – увы, не может.

Засим остаюсь неизменно Ваш – проф. Курдюков”.

“Уважаемый Илья Наумович, – строчила Стеша. – Когда-то романы Жюль Верна, Артура Кларка, гиперголоид инженера Гарина казались завиральщиной, и что же? Прошла всего пара-тройка десятков лет, и сказка стала былью...”

“Проясню ситуацию, – отвечал Курдюков. – Дело в том, что Жюль Верн, Алексей Толстой и Артур Кларк были (последний с некоторой натяжкой) фантастические, кошмарные невежды. Как летать на Луну и что при этом происходит, как сделать подводную лодку и т. д. реальные ученые, а не хрен-знает-кто, знали досконально в начале XIX века. Что нельзя просверлить землю с помощью каких-то термитных кубиков, было ясно начиная с XVIII века. Фантасты ничего не предсказывали. Они просто продавали свои невежественные фантазии еще большим невеждам”.

“Выходит, фантастику на свалку?” – писала ему Стеша, понемногу заводясь.

“Фантастика – это совсем не то, что вы думаете, – отвечал профессор. – Фантастика – это когда Галилей додумался, что люди, заключенные внутрь корабля, который с одной скоростью скользит по гладкой воде, никогда не догадаются о том, что они внутри корабля, который скользит по гладкой воде. Вы будете смеяться, но *вся* современная физика возникла из этого. Фантастика – это когда Фарадей и Максвелл догадались до радиоволн, а Герц их нашел. Фантастика – это таблица Менделеева. Фантастика – это когда Планк, Эйнштейн и Бор поняли, что для того, чтоб вы видели свет, электроны должны летать вокруг протонов в атомных ядрах...”

И заключил этот спор сентенцией:

“Замечательная проза, – написал он, словно высекая свою мысль на мраморе, – велика не «изобретением» какой-нибудь адской машинки или волшебных лучей с чудесными свойствами, – но тем, что автор постиг что-то важное в человеке: миф о царе Мидасе – не об утерянной технологии превращения чего угодно в золото путем прикосновения. Точно так же, как и «Шагреновая кожа» Оноре де Бальзака – не об уникальных свойствах некоторой разновидности кожи. Так что подпорки в виде квантовой механики (или любой другой «официально признанной» теории) хорошей книжке просто не нужны: она не об этом.

...Разве нет?

Капитан Очевидность”.

– Ну хватит с меня, – возмутилась Стеша. – Каждый гаврик мне будет нотации читать!

Она извлекла из шкафа свой бархатный бордовый альбом, выудила оттуда старую фотографию, пошла – сделала копию и отправила Курдюкову.

На снимке она лет шести, с улыбкой во весь рот, совершенно беззубая, стоит у фонтана среди пальм. С одной стороны у нее Макар с бамбуковой тростью в белой войлочной шляпе. А справа – в парусиновых штанах и просторной рубаше, стриженный под ноль – тоже Макар, но только без шляпы. И подпись:

“Не живи уныло – цени все, что было!”

Папка.
6.06.1929 г. Пятигорск”

Послала и ждет насмешливое: “Подделка”.

Месяц профессор безмолвствовал. Наконец пришел ответ:

“Спасибо... и Вам – доброго!

Док. физ. – мат. наук, проф. И.Н.К.”

Весь пронизанный субботним ярким солнцем, от макушек платанов до крапивы у забора семейства Фили, Витебск раскинулся на холмах в летней послеполуденной дреме. По теплой Двине, разломившей пополам город, фланировали пароходы, мерно стуча по ее летейским водам огромными колесами-лопастями, заходя в извилистые притоки Лучёсу и Витьбу – с высокими, заросшими ивами берегами, радуя расслабленных пассажиров живописными картинами.

Золоченой рамой город окружал Смоленскую базарную площадь, испускавшую на три версты вокруг соблазнительные и сокрушительные грибные, чесночные, лавровые, рыбные, пряные, ядреные запахи. Лавки с красными занавесками открыты для рыночной публики, перед распахнутыми дверьми на табуретках восседали необъятные мастерицы и проворно вязали чулки из овечьей шерсти. Тут же – сита с ягодами, хлебами, лепешками и коржами, пирамиды горшков и кастрюль, скобяная утварь, корыта яблок. По рыночным рядам бродили козы, грозя наделать бед, вдали пара волов тащила воз, доверху нагруженный картофелем.

В тот год бурно уродилась картошка, из нее на славу готовили еврейскую запеканку *картофл-тейгехтц*. Высокую кастрюлю внутри смазывали куриным или гусиным жиром, заполняли протертой бульбой. Пару часов это благолепие млело в печи, сверху и сбоку образовывалась толстая коричневая корочка. Обеденье!

В праздники Ларочка с Филей совершали моцион в магазин мясных изделий на Суворовской улице. Там можно было купить *уфинит* – ломтики копченого говяжьего языка, индейки или чайной колбасы. Все это нарезалось при покупателе. Филарет в заправском кафтане (перелицованном старом халате Лары) завороченно глядел на это священнодействие. Мясо редко попадало к нему на зубок, все больше крупник да тушеная морковка. Лишь время от времени, когда у Фили неплохо шли дела, Ларочка сочиняла вкусную фаршированную куриную шейку и кисло-сладкие мясные тефтели.

– Что ты стоишь, как глиняный истукан? – пихала его локтем Ларочка.

А что удивительного? Филя всю жизнь был кустарем-одиночкой. Не горемычным бедняком, но бережливым и запасливым, то есть не тряся над копеечкой, зато и не боялся остаться нищим на старости лет. К тому же он любил выпить, но пьяницей не был, конечно, боже упаси! Выйдет из корчмы в приподнятом настроении, слегка навеселе:

– Реб Зюся, сердце мое! Дай вам бог здоровья. Дорочка! Мое почтение!

Роста – три вершка, бородка реденькая, одно слово – замухрышка. Зато какое кристальное создание! Говорили, стоит немного побыть с ним, и так хорошо становится, словно Господь по сердцу босиком пробежал.

Вот и маэстро Блюмкин всякий раз приглашал Филю с Ларой попраздновать царицу субботу. Обычно их там ожидали приготовленные со специями нежные рыбки-плотвички. До *гефилтэ фиш* – фаршированной рыбы из карпа или увесистой шуки, как правило, дело не доходило.

Впрочем, случались времена, когда из рук Зюси выпархивали особенно певучие скрипки, тогда на столе появлялись наваристый борщ, галушки с гусиным жиром, а главное – в субботний полдень реб Зюся притаскивал домой благоухающий чолнт из жирной говяжьей грудинки с гречневой кашей. Свой казанок он еще в пятницу заправлял на целую ночь

в раскаленную и наглухо закупоренную печку. Благодаря такому маневру Доре не приходилось готовить пищу, нарушая святость субботы.

Стаканчиком изюмного вина Зюся освящал праздник и на древнееврейском языке провозглашал “благословение восседающим”, которому в детстве обучил его дедушка Меер. Заканчивалось оно пожеланием, чтобы евреи были избавлены от всех бед, а также неизменным напоминанием Господу, что ему давно пора подсобить Зюсиному племени как-то воспрянуть и возвеселиться душой.

– ...И чтобы в конце концов пришел Мессия, – торопливо заканчивал Зюся свою молитву.

– Аминь, – подхватывали Дора, Филя и Лара, блаженно принимаясь за трапезу.

Летом по вечерам в саду гоняли чай – отвар из малины, брусники, смородины. Ларочка и Дора любили посидеть за кружкой цикория.

Чудо как хорошо было в августе в Витебске! А ведь скажи той спящей собаке, что разлеглась вверх рыжим животом посреди Покровки, что идет страшная война в мире, – не поверит, скотина! Так слушай: за Карпатскими горами, на Балканах, на берегу Балтийского моря, на Кавказе тысячи и тысячи солдат убивали друг друга посредством разных приспособлений, тыкали штыками в живот, травили газами. Верно говорят: если Бог захочет, то выстрелит и метла, ведь это Он ворочает мирами...

Но не слышит раскаты орудий полусонный Витебск, живущий словно ничего не случилось, многолюдный, мастеровой, русско-польско-белорусско-еврейский городок. Всего то неделю, как отбыл по Западной Двине пароход, на котором уплыли первые мобилизованные. Были среди них и друзья Ботика с Ионой, старшие по возрасту. Слепого гармониста Миху Трещалова пока зачислили в запас, но Ури-балалаечника и Титушку Шамшурова увезли вместе со старшими сыновьями Просмушкина и другими ребятами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.